

Инна ЛЕСОВАЯ

Красная рука

Вот она стоит – Нонка. В дверях сарая стоит. Нонка. Врагиня моя.

Вообще-то, не было у меня в жизни врагов. Ну разве что Тамара там одна. Это когда я уже взрослая была, на работе. «Рыжей» её звали. Хотя она была не очень-то рыжая. Нонку тоже звали «рыжей». А Нонка уж точно была не рыжая. Такая себе блондинка с тёплым желтовато-розоватым оттеночком. Но – конопатая. Может, потому и считали её рыжей. Веснушки-то были действительно рыжие.

Бровей у неё не было. Так, поблёскивало что-то непонятное. Когда Нонка злилась, на месте бровей проступали две тёмно-розовые полосы. А злилась Нонка всегда. Ну, почти всегда. И каждый бы злился на её месте! Стоит человеку выйти во двор – и все мальчишки тут же сбегаются, становятся в круг, да и девчонки с ними, а ещё и малышня. Нонка оказывается в центре, будто на арене, а все вокруг орут дрянными голосами:

– Нонка-купонка! Нонка-купонка!

И Нонка тоже начинает орать, ещё более противным голосом:

– Я не Нона! Я – Нина!!

И аж сгибается. Рот разинут, щёки запали, глаза вытаращены... Ужасно противно! Кажется, что лицо её сделано из чего-то немножко прозрачного, как спелый персик. А изнутри проглядывает плотное красно-оранжевое ядро. Вот в такие минуты она становится действительно рыжей. И все радуются и начинают кричать:

– Рыжий пёс, рыжий пёс, бочку масла унёс!

– Я не рыжая! – надывается Нонка. – Я блондинка!

– Рыжий пёс! Рыжий пёс!

Сама-то я не кричу. Это нехорошо – дразниться. Но стою я вместе со всеми, в том же злобном смеющемся кругу, а значит, тоже немножко дразнюсь. И что-то спорит, толкается у меня внутри. Стыд и радость. Стыд –

потому что нельзя, нельзя дразнить даже такого плохого человека, как Нонка. Тем более – дразнить хором, одного-единственного, окружённого, затравленного. А радуюсь – потому что, когда я стою с ними вместе, то получается, что я одна из них, такая, как все. Радуюсь – потому что, когда дразнят Нонку, не дразнят меня. Оставляют в покое.

Во дворе считается, что я хорошая: не толкаюсь, не плююсь, не забираю чужие игрушки, не ябедничаю, не беру у мамы деньги без спроса, не говорю глупостных слов. А главное – ничуть, ничуть не рыжая. Никаких веснушек! У меня даже наоборот – красивые тёмные локоны. И самые длинные ресницы на улице.

Вот с именем мне не повезло. Назвали меня родители странно, не по-русски. В честь моей бабушки, которую убили. И когда говорят, как звали мою бабушку, слово звучит совсем не стыдно. А когда мне приходится отвечать на вопрос «как тебя зовут?», я становлюсь ну просто каменная и чуть ли не давлюсь собственным языком. Говорю – и сама слышу, до чего оно некрасивое и позорное – моё имя. Да я бы всех своих кукол отдала и длинные ресницы в придачу – за то, чтобы меня звали... хоть Нонкой! Ну что тут такого обидного? «Нонка-купонка»...

Когда я выхожу во двор, меня тут же окружают таким же орущим кольцом и повторяют десять, двадцать, сто раз: «Цыпочка-бульончик! Цыпочка-бульончик!» Причём Витька и Польша стараются произносить эти слова с противным таким акцентом... Как у бабки Гуревич. А мне и ответить нечего.

Кто её знает, Нонку... Может, её действительно по-настоящему Ниной зовут? А меня как зовут – так и зовут. Такое вот ужасное сочетание звуков, которое ни один человек не может правильно выговорить. Знакомые, которые считаются «культурные», заменяют «ц» на «т» – и получается «Тиночка». Которые «некультурные» – те говорят как угодно: «Цы-ыпа», «Цы-ыля», «Цы-ыня»... А Лоркин папа – так вообще «Цинга»! И все не так, как надо на самом деле. Не так, как звали мою бабушку, которую немцы убили и бросили в яму.

Мама очень скучает по бабушке. Иногда, когда у неё случается хорошее настроение, когда ей надоедает ругаться и воспитывать (обычно это бывает по утрам), – она начинает целовать меня повсюду. И в голову, и в ноги, и даже в живот. И таким жадным, тоскливым голосом повторяет: «Ты – мама!

Ты мама моя! Моя мамочка родная!» И мне становится страшно и стыдно. Страшно, потому что я ещё маленькая, а мне приходится быть мамой взрослой женщины, которая всё время сердится.

Понять это очень трудно. Иногда я сажусь на стул и прислушиваюсь к себе. И чувствую – правда! Что-то есть... Сидит внутри меня старушка, причём не седая. Волосы у неё тёмные, как у мамы, чуть-чуть лохматые и скручены на затылке в пучок. Старушке скучно и холодно. Почему-то она голая. Сидит и смотрит. Я открываю рот. Может, хоть скажет что-нибудь... Жду. Но старушка молчит. Только смотрит и смотрит – как-то укоризненно, разочарованно. Потому что я огорчаю её дочку. Плохо ем, не хочу спать днём. Главное – всё время со мной что-то случается! То лбом ударюсь, то колени разобью, то вообще в подвал провалилась.

Старушка ворочается внутри и вздыхает. Тесно ей, тесно! Руки мои малы для неё, ноги малы. Ей тоже больно, наверное, когда я расшибаю колени.

А колени у меня никогда не заживают. Корки не успевают отпасть – я снова падаю и сдираю кожу вместе с коркой до новой крови. И чувствую я себя так, как будто взяла поиграть или поносить чужую вещь, а вещь разбилась. Мама каждый раз страшно пугается и кричит. Если бы она разбила свою коленку, то не кричала бы так сильно. И не только кричит – может и отшлёпать. Ну, это, конечно, когда уже кровь остановится, когда рану промоют.

Просто непонятно, как это всё получается. Я ведь так хочу быть хорошей! Ничего плохого не делаю. Не лезу на заборы, не хожу в чужие дворы, обхожу острые булыжники. Но вдруг р-раз – и оказываюсь где-нибудь на земле или на асфальте, с горящими от боли ладошками. Или вообще в подвале, в узком таком кирпичном колодце, почерневшем от сырости. И за спиной у меня низенькое окно дворника, а наверху – папа. Тянет ко мне руки и не может достать. И не знаю я, не знаю, как оказалась в этом колодце! Шла себе и шла за папой. Смирненько. Папа повесил ведро на кран и стал набирать воду. И вдруг – ни папиной спины, ни ведра, ни крана. Одни кирпичи! И сзади кто-то стучит по стеклу, что-то кричит. Но папа не слушает, папа лёг на землю, прямо на снег, и тянет меня наверх за шубу. Будто из могилы.

Может, и бабушку мою вот так же вытащили из могилы. Она полетела, полетела... Спряталась у мамы в животе, а потом родилась. И поэтому уже никак нельзя было дать мне другое имя.

Если б не это, назвали бы меня Леной. Или Таней. Олей тоже быть хорошо. Ирой, Лорой. Господи! Да кем угодно, пусть даже Нонкой! Пусть бы я даже рыжая была! Тогда хотя бы она, Нонка, не могла бы меня дразнить. А то ведь громче всех орёт, противней всех. Все уже по своим делам разошлись, а она плетётся сзади и зудит: «Цыпочка-а... Цыпочка-а... Цып-цып-цып...» Ещё и подкрадётся, бант развяжет, на ногу наступит, дёрнет за платье. Делает всякие мелкие гадости, пока кто-нибудь из взрослых не отгонит её от меня: «А ну пошла от неё! Не трогай, а то сейчас ухо откручу!»

Нонка тут же отпрыгивает, как драная кошка. А взрослые принимаются отчитывать меня.

– Ну что ж ты такая какая-то... Зачем ты вообще с ней играешься?

– Я не играюсь! Она сама ко мне пристаёт!

– А ты давай сдачу!

Легко сказать... Не умею я давать сдачу. Да и не хочется. Ничего тут не поделаешь: я – воспитанный ребёнок. А Нонка – невоспитанный. Невоспитанные всегда бьют воспитанных. Зато меня все любят, а Нонку никто не любит.

Один Нонкин недостаток точно известен: Нонка – похатница. Похатник – это такой человек, который без приглашения ходит «по хатам», то есть в гости. Может в любую квартиру позвонить – даже в такую, где нет детей. Позвонит – и, как только дверь откроется, торжественно сообщает: «Здрасьте! Я пришла к вам в гости!» И, не дожидаясь ответа, топ в коридор! Сама я этого не видела, но соседи рассказывали, плечами пожимали. «Ну что за манера такая!» – «Просто нахалка растёт!» – «Пошла, представляете, к Яковлевым, к профессорам! Здрасьте, я ваша тётя... И прямо в комнату, и всё руками лапает! Домработница ей говорит: “Ну всё, посмотрела и иди себе!” Еле выставила! Ужас!» – «А что с неё возьмёшь при таком отце?»

Когда Нонкин отец умер, стали говорить: «А что с неё возьмёшь, растёт без отца...»

Нонкиного отца тоже никто не любил. Он пропивал всё, что зарабатывала Нонкина мать шитьём и стиркой. Мать была маленькая, тёмненькая. Когда муж напивался и начинал буяннить, она убегала из дому. Стояла у чёрного хода, жалко обнимая себя за локотки, и рассказывала соседям, что муж отнял у неё деньги, которые она получила за два платья и

халат, так что ей теперь кормить детей нечем. И спрашивала, не надо ли кому что-нибудь сшить или починить. А нет – так постирать. В долг никогда не просила.

Причёску она носила городскую. Надо лбом высокий валик, а сзади кудряшки, приколотые за ушами. Такую причёску тогда все носили. Во всяком случае, «культурные». Нонкина мать вообще больше любила разговаривать с «культурными». С деревенскими на лавочке не сидела.

После смерти мужа жить ей стало полегче. Никто не плевал на пол, не разбивал посуду, не ложился на крахмальные простыни прямо с грязным сапогом. Сапог был один и нога одна. Вместо второй ноги висела упакованная в штанину штука, похожая на гранитные надолбы, которые ставили с двух сторон подъезда. Я тогда думала, что это памятники. Напоминание о том, что была война, что теперь у многих мужчин нет ног и что они, безногие, должны сидеть вот на этих надолбах.

У нас в доме одноногих было трое. Муж Лейбовички, папа Регины и Нонкин отец. Но на надолбе сидел только Нонкин отец. Сидел, опираясь руками на свои костыли, и мрачно рассматривал прохожих. Считалось, что одноногие чаще всего пьяницы, но пьяницей был только он, причём соседи говорили, что пьяницей он был и до войны, с двумя ногами. Что он и тогда уже забирал деньги у Нонкиной матери. Сильно бил её, а Женя, старшая Нонкина сестра, которая была ещё маленькая, выбегала во двор в ночной рубашке и звала на помощь. Нонкина мать хотела с ним развестись, но тут началась война. А когда он вернулся с фронта, Женя бросилась ему на шею, стала кричать: «Папа, папа!» Нонкина мама растерялась, вроде как обрадовалась, и уж очень не к месту было выставить на улицу его, героя войны, ещё и калеку на костылях. В общем, засуетилась она, рассиялась, вошла в роль женщины, муж которой с войны вернулся... Тут же взялась чинить и стирать его вещи, обшивать байкой подмышечники на костылях. И пока поняла, что не стал он лучше оттого, что потерял ногу, успела забеременеть. Оставлять двоих детей без отца не хотелось. Это ведь такая роскошь была в те времена – живой отец! А другой роскоши в семье не имелось.

Так вот, все говорили, что Нонка в отца: такая же рыжая, такая же вредная, ещё и похатница.

Нонкиного отца я видела редко. Хорошо запомнила только тяжёлый, бухающий голос из подвала: «Я воевал, я кровь проливал, а ты тут...» И Нонкина мама что-то кричала ему в ответ, защищалась. И Женя тоже что-то кричала – ненавидящим, совсем взрослым голосом. А Нонка громко ревела.

Теми же словами он попрекал соседей и людей в очереди. Кто-то огрызался, кто-то мог и выругать его. Блиндерша, например, стала однажды кричать, что он вот вернулся живой – подумаешь, большое дело, без ноги! – а её, Блиндершин, муж сложил на фронте голову, и она одна поднимает двоих детей. Так что если он сейчас же не пропустит её к колонке, она, Блиндерша, за себя не отвечает. Пусть её даже посадят!

Мама сказала потом Блиндерше: «Зачем вы с ним связываетесь? Вы что, не видите, с кем имеете дело? Это же опасный человек. Он бросил нам в окно кирпич, а у нас были гости, полная комната людей! Хорошо, что ни в кого не попало!» Тогда Блиндерша стала кричать на маму. Мол, из-за таких, как мама, каждая сволочь не боится нас оскорблять и смешивать с грязью. И все соседки бросились успокаивать Блиндершу, успокаивать мою маму и всячески поносить Нонкиного отца, из-за которого Нонкина мать уже высохла, как щепка, и стала похожа на старуху. И хоть бы он вообще уже сдох поскорей.

Он и сдох.

Где-то я, наверное, была в то время. Потому что ничего такого не помню: ни венков, ни похорон. Просто вдруг оказалось, что Нонкин отец был себе когда-то, а теперь его уже нет.

«Сгорел от водки». Витька сказал это однажды вечером. Мы сидели под грушей и рассказывали друг другу ужасные истории. Почти все истории были про разные там руки и перчатки. Как они вылезали с потолка или из колодца и кого-нибудь душили. У одной только Римки была своя, отдельная история. Про огненную обезьяну. И вот когда Римка стала описывать, как у этой обезьяны изо рта шёл огонь, Витька и прокомментировал. Я своим ушам не поверила. Но кроме меня никто не удивился. И я спросила у Верки. На ухо, конечно.

– Что это такое он говорит про Нонкиного отца?

– Секретничать публично – очень неприлично! – сказала Валька.

Поэтому Верка ответила мне во весь голос:

– Ну да, сгорел от водки. Упал на пол, прямо на кухне, – и продолжила со взрослым презрением: – Изю рта у него пошёл огонь, прямо вот так, прямо вот так! Ну и всё – все кишки сгорели!

А Нонка не обиделась. У неё даже расплылось лицо в мечтательной гримаске.

* * *

Очень противная гримаска! Вот такая же была у неё однажды, когда она неизвестно зачем затащила меня к себе в дом. Затащила буквально за руку. А я до этого не то что к Нонке не заходила – вообще ни разу не спускалась по подвальной лестнице! Потому что оттуда воняло грибами и крысами, потому что там всегда было темно, потому что там вечно ругались на кухне из-за табуреток и газовых плит. А главное – чуть ли не в каждой семье был какой-нибудь свой пьяница.

Я шла за Нонкой, и у меня просто ноги подкашивались. Под подошвами скрипели жёлтые кирпичи, ржаво-серый потолок нависал, как брюхо, и грозился вот-вот рухнуть мне на голову. Когда Нонка потянула за ручку свою дверь, я чуть не оглохла от ужаса. Но там внутри оказалось совсем не страшно. Даже наоборот, интересно. Горела яркая лампочка, хотя день был светлый. Длинная узкая комната была разгорожена занавесками из чистенького цветастого ситца. Вроде как лабиринт. За правой занавеской оказалось маленькое купе: две кровати, между ними столик. На столике швейная машинка. Над столиком начинался подоконник. На подоконнике, как и у нас, бродила в бутылках наливка. Неба видно не было, только посеребрившие кирпичи до самого верха. Это была та самая яма, куда у нас всё время падали мячи. Такая же глубокая, как та, из которой папа вытащил меня за шубу, только длинная. Не на одно окно, а на целых пять.

На левой кровати сидела Нонкина мама и что-то шила. Посмотрела на меня поверх очков и снова стала шить. На правой кровати сидела Женя и какой-то плоской штучкой наподобие напильника обпиливала ногти. Женя на меня вообще не посмотрела. Впервые в жизни я увидела, как обпиливают ногти. Все вокруг обрезали их ножницами. И такого халата, как у Жени, не было ни у кого. Ярко-зелёный с красными и коричневыми цветами, блестящий, как бархат, с роскошными воланами и длиной до пола.

Этот халат я уже не раз видела. Женя выходила в нём в уборную. Вдруг появлялась из своего подzemелья, сияющая, как Хозяйка Медной горы.

Толстая золотисто-рыжая коса короной скручена на затылке, золотисто-рыжие спиральки обрамляют круглое лицо с нежным тёмным румянцем во всю щёку, с бровями вразлёт, с маленькими презрительными губами и зелёными, как халат, глазами. Холодными глазами, которые и двора не видели точно так же, как не видели меня. Вот кто был действительно рыжий, так это Женя! Но такую, конечно, никому и в голову не приходило дразнить.

Женя считалась бы во дворе первой по красоте, если бы не это выражение лица, от которого всем сразу становилось за себя стыдно. Каждый чувствовал себя виноватым оттого, что Женя вынуждена проходить мимо нас, глазеющих, мимо таких вот затрапезных. Пересекать наискосок этот двор, утыканный острыми булыжниками, брезгливо балансировать капризной ручкой с оттопыренным пальчиком, брезгливо приподнимать халат, переступая через лужу, натёкшую от колонки. И главное – задирая повыше круглый подбородок, при двадцати, при тридцати свидетелях открывать разболтанную деревянную дверь, покрашенную белой известью, из-за которой на весь двор разит хлоркой и мочой. И все знали, сколько она там находится, и видели, как выходит оттуда. Смотрели на её стройную широкую спину, туго передавленную пояском, и понимали, что всё это временно, что скоро всё изменится и не будет больше Женя ходить в уборную. Может, вообще уедет куда-нибудь – чуть ли не в Москву, туда, где Кремль и Мавзолей. И ничего с собой не возьмёт отсюда, ну... разве что – зелёный халат.

Вот с таким же неприступным лицом Женя сидела на кровати в своей узкой комнате. И я рада была, когда Нонка вытащила меня из-за той, из-за правой занавески. Я ждала, что мы пойдём теперь налево, в темноту, но между левой и правой занавеской оказалась ещё одна, прямо напротив двери. Туда она меня и втолкнула. Втолкнула с многозначительным сюрпризным видом. И я всё ещё ждала чего-то, хотя уже видела, что ничего там нет кроме помойного ведра, накрытого миской, и... самого обыкновенного, такого же, как мой, зелёного горшка. Горшка, который я заталкивала поглубже под кровать – ещё и стаскивала пониже покрывало, чтобы никто из гостей не увидел, не узнал, что у меня есть горшок.

Нонка затащила меня в этот позорный угол и строго приказала мне смирно стоять. Вот я и стояла смирно, пока Нонка задирала платье, стаскивала трусы и устраивала поудобней свою худую белую попку на зелёном горшке. Что-то она говорила мне при этом, но я ничего не понимала

от стыда. По дну горшка звонко била струйка – причём как-то неправдоподобно долго. Струйка звенела, а Нонка говорила. Но вдруг замолчала, и физиономия её растянулась в блаженно-натужной гримаске. Нонка будто вспоминала что-то, будто вслушивалась в себя – пока не булькнуло, пока не шлёпнуло о дно горшка нечто увесистое. Я попятилась, зашарила рукой по занавеске. Нонка отвлеклась на секунду, отвердела лицом и приказала мне стоять на месте, ждать. И тут же снова расплылась, блаженно растянула губы.

* * *

Вот такое же лицо у неё стало, когда она заговорила о своём отце. «Ой, он был такой хороший, такой хороший!» Никто не поддержал Нонку, но она продолжила: «Вот скажи, Верка! Помнишь, ты упала на кухне, а он тебя поднял и посадил на колени?» Верка безразлично пожала плечами. Я боялась, что Нонка и меня спросит о чём-нибудь. Мне и хотелось бы сказать о Нонкином отце что-нибудь хорошее, но я ничего не знала кроме кирпича. Того кирпича, который он запустил к нам в окно в день моего рождения. Да я, собственно, и кирпича не видела.

Надо же! Просыпаешься утром в день своего рождения, а тебе так плохо, что глаза открыть невозможно. Вроде и не кашляешь, и горло не болит, и голова не болит, а так тебя что-то мучает, так ломает, что хочется выползти из собственного тела! И свет, почему-то очень мешает свет. Мама сунула мне термометр и стала ругаться: «Что же это такое?! Так простудиться среди лета!» Папа что-то сказал ей тихонько по-еврейски – она ещё больше испугалась: «Ой! Что же нам делать? И ведь как назло пригласили людей на час дня! Может, ты хоть на Подол съездишь? Скажешь, чтоб Геня с Давидом не приезжали. Не хватало ещё, чтобы Манечка заразилась!»

Не знаю, куда папа съездил, куда нет. Но гости все пришли. Только без детей. А мой диван на всякий случай заслонили ширмой, и мне там было ужасно плохо. Я лежала и слушала, как они там едят, как разговаривают. И обидно было, что им так весело. А когда дядя Давид достал свой баян и начал играть, я вообще чуть не заплакала. А тут ещё мама каждый раз заглядывала, и клала мне руку на лоб, и пугалась, а рука была такая противно-холодная... И баян, который я так любила, звучал мутно и грязно, будто это не музыка, а тарелка манного супа с мясом, который обязательно нужно съесть – иначе накажут и поставят в угол. А гости ещё и подпевали ему! Всё, всё меня раздражало! Всё, что обычно нравилось, что было

неотъемлемой приметой праздника. Весёлый, звонкий, режущий уши голос тёти Фиры. Дребезжащий, как медная проволочка, голосок тёти Зины. Сытое буханье мужских басов.

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём!» И, судя по звуку, снова наливают. Но тут раздаётся грохот, короткий такой грохот без звона. Все вскакивают и бегут к окнам. «Ничего страшного, – слышу я голос папы, – это у нас тут один пьяница». – «Надо вызвать милицию!» – требует дядя Саша Шахворостов. «Да ну, не стоит...» – «Как это не стоит?» – сердится дядя Саша. «Он инвалид, без ноги, воевал...» – «Ну и что? – продолжает напирать дядя Саша. – А ты не воевал? А я не воевал? Есть тут хоть один мужчина, который не воевал? А если бы он попал кому-то в голову?» – «Но ведь не попал! – откликается тётя Зина, и голосочек её восторженно дребезжит, дребезжит... – Подумаешь! Большое дело... Ну, выпил человек, услышал, что люди веселятся, музыка играет, стало завидно...»

На слове «музыка» голос тёти Зины густеет от гордости, потому что живая музыка – это вам не радио и даже не патефон. Это главная роскошь любого праздника в нашей родне и её, тётизинин, личный вклад. Холодец, винегрет – это есть у всех. А вот муж с баяном...

Дядя Саша затихает понемножку. А мне как-то стыдно, потому что все капельку струсили, это слышно по их голосам. Один дядя Саша не струсил, потому что он русский. Русские ничего не боятся.

* * *

Как я хотела быть русской! Ведь из-за меня весь двор страдал. Ребята из четырнадцатого двора забирались на крышу гаража, дёргались, кривлялись и кричали нам: «Цып-цып-цып, кугочка!» А наши ребята рисковали жизнью: ведь с узкой кирпичной стенки, на которую они вылезали, можно было запросто свалиться. Им нечего было ответить «четырке», и они бросали туда всякую гадость. В основном кочаны от яблок, иногда окурки или даже засохшие собачьи какашки. Я ни за что не смогла бы взять такое в руки. Тем более вылезть на стенку.

В общем, все меня защищали, хотя я, между прочим, была во дворе немножко чужая. Наверное, потому, что раньше, когда мы были богатые, меня гулять во двор не выпускали. Но всё равно дети из других дворов не имели права меня дразнить. Только свои!

«Свои» дразнились не так злобно, зато часто. Нонка, конечно, в первую очередь. Она вообще мучила меня и командовала, как захочется.

Если бы я была русской, мама вышла бы во двор, как Иркина, как Талкина, как любая русская мама, – и отругала бы Нонку. Громко, смело, так, чтобы она потом боялась близко ко мне подойти. Вот ведь не цепляется она к Верке, которая так нехорошо скривила лицо, что каждому ясно: Нонкин папа ей ничуть не нравился. И к Витьке не цепляется, который без всякого стеснения взял да и ляпнул: «Сгорел от водки». Он ещё и плюнул вдобавок через плечо, куда-то назад! Будто Нонкин отец умер не на кирпичном полу общей кухни, куда я однажды заглянула, а там лежит, у Витьки за спиной. На серой земле лежит, в костюме земляного цвета. Костыли его валяются рядом, будто стрелки поломанных часов, а из открытого рта, как из газовой конфорки, пыхает, пыхает голубое огненное кольцо. Это ещё страшнее, чем огненная обезьяна, которая была далеко, где-то в чужой стране, да ещё и в шахте.

Мне захотелось поскорее оказаться дома. Я сделала несколько шагов – и вдруг застряла посреди темнеющего двора. Нонкин отец полз за мной, поскрёбывая костылями. А из-за угла, из-за Лёвкиного палисадника, высунулась оранжевая голова горячей обезьяны. Я их обоих видела, видела спиной. И поэтому спина у меня онемела, а ноги прилипли к земле, как два утюга, и я уже ничего не могла – ни вернуться, ни пойти вперёд.

И даже когда я услышала мамин голос, ноги не стали меня слушаться. Мама звала, а я стояла на месте. Мама кричала, что ужин остывает, – а я стояла.

– Сколько можно тебя звать? – всё сильнее расходилась она. – Ты идёшь или нет?

– Не-ет, – слабенько проблеяла я.

Тогда мама спустилась со ступенек, взяла меня за руку и потащила.

– Что это за ребёнок? Что это за наказание? – бурчала она, понятия не имея о том, что огненная обезьяна дышит мне прямо в затылок, а Нонкин папа вот-вот схватит за ногу.

Несколько раз мама меня встряхнула, даже шлёпнула, но и это не помогло. И уже дома, сидя за столом между мамой и папой, когда бояться было совсем вроде бы нечего, я не выдержала и заплакала.

– Что, что случилось? У тебя что-то болит? – испугалась мама.

Я помотала головой.

– Чего же ты плачешь?

– Не зна-аю...

– Сейчас папа встанет, – сказала мама, – даст тебе хорошего ремня по попе, и ты будешь знать, чего плачешь.

* * *

У других мам всегда виноваты чужие дети, а у моей мамы всегда виновата я. Даже когда Славка-дурак подошёл и ни с того ни с сего ударил меня по лбу лопатой, она не подумала отнимать у него лопату, не побежала к его маме жаловаться. Сначала она просто визжала от ужаса, потому что думала, что он выбил мне глаз, а когда оказалось, что ничего страшного со мной не произошло, стала меня ругать за то, что я играю со Славкой.

Славка, как и Нонка, считался во дворе плохим ребёнком. И все родители требовали, чтобы их дети не водились с ним. Говорили, что папа его, милиционер Василий, – пьяница, и поэтому Славка такой невоспитанный и вредный. А когда Василий повесился, прямо в своей милицейской форме, только почему-то без сапог, повесился на длинной балке, которая торчала с чердака их флигеля, – все, конечно же, стали говорить, что Славка такой плохой, потому что сирота и растёт без «мужской руки».

Нонка гордилась тем, что именно она первая заметила Василия. Вышла утром во двор, поиграла немножко, а потом посмотрела вверх и вдруг увидела, что он там висит и крутится, как ёлочная игрушка на длинной нитке. Взрослые ходили, ходили туда-сюда, кто на работу, кто по воду, а посмотреть вверх ни один не додумался. Только она, Нонка, додумалась и увидела, как он висит без сапог. «А ноги такие длинные-длинные! И синие».

Ноги были действительно синие. Это подтвердила Лорка, моя любимая подруга, которая никогда не врала. Она только их и увидела – бр-р! – эти самые ноги, когда Василия уже сняли и несли домой в простыне. Снимать его было очень трудно. Никто не понимал, как он, ещё и пьяный, сумел накинуть верёвку на эту балку. А уж дальше понятно: он просто выпрыгнул с верёвкой на шее с чердачного окна. А туда даже машину с люлькой нельзя было подогнать, потому что это была та самая горка, подпёртая досками и

ржавыми спинками довоенных кроватей, на которых Фрося без разбору, как попало высаживала свои деревенские цветы. Маки, мальвы, ромашки, чернобривы, а среди всего этого ещё и укроп с петрушкой.

* * *

Цветы у Фроси росли буйно, как-то не по-городскому. Мне казалось, что Фрося перетащила эту горку из своего родного села. И окошко её, в котором она вечно сидела, любовалась на свои цветы, тоже выглядело по-деревенски, душевно. Может, оттого что Фрося стену вокруг своего окна регулярно белила известью. Дворник отдавал ей то, что оставалось после побелки уборной. Фрося и возле уборной посадила цветы. Разноцветные мальвы, высокие, крепкие – хотя росли они, можно сказать, прямо на булыжниках.

У Фроси было ещё одно окно, на её лестничной площадке. Оно находилось прямо над дверью уборной. Фрося и в этом окне красовалась довольно часто, не смущаясь запаха, который бессильны были перебить не только мальвы, но и все цветы с Фросиной горки. Со стороны горки пахло, конечно, меньше и вид был куда красивее, но там не с кем было поговорить. Разве что с детьми, которые возились под сараями, жадно поглядывая на Фросины цветы. Каждая девочка мечтала сорвать цветок, но в нашем дворе это считалось немислимым преступлением. А Фрося хоть и улыбалась в своём окне, хоть и состояла вся из подушечек и ямочек, хоть и показывала нам гипсовую раскрашенную кошку-копилку, но пусть бы кто-нибудь попробовал руку протянуть в сторону её маков! Такой бы открыла рот, что ни Муське, ни Груньке не снилось.

Прямо напротив уборной Лоркин папа сколотил три лавки. На них сидели старухи, сидели женщины, которые сушили бельё или проветривали барахло. Фрося к ним не спускалась, но могла спокойно участвовать в любом разговоре, навалившись подушечной грудью на подушечные руки: двор-то наш был очень тесный, вдобавок каждая хозяйка старалась урвать кусок земли под свой палисадник, который, разумеется, огораживала забором.

Впрочем, нам казалось, что двор просто огромный. Он состоял не то что из разных углов – из разных стран! С явными и неявными границами, которые страшновато было переступать. Левый угол двора, куда выходили Грунькины и Блиндершины окна, был и вовсе забит досками. Так что полюбоваться на сирень, на Грунькины петунии и душистый табак можно

было только через щёлочку. Там помещалась даже раскладушка, на которой иногда загорали Грунькины дети.

Фроськина горка была для меня лугом, Лоркин флигель – подольским домиком, а мрачный сырой закоулок, куда выходили окна Берманши и несчастной Геньки, казался каким-то жутким, полным опасностей средневековым городом: задняя стена бывшей тюрьмы уж очень напоминала крепостную, а в чёрных сараях, которые лепились к ней, было что-то по-старинному жуткое. Там никогда не было солнца, и поэтому всё гнило. А главное, там жил туберкулезный Берман, который плевался кровью. Нам известно было, что тот, кто вступит в такой плевок, непременно сам заболеет. Впрочем, Берман плевался повсюду: где закашляется – там и наплюёт. А если ему делали замечание, начинал размахивать своим пустым рукавом, как Нонкин папа размахивал пустой штаниной. «Я – инвали-ид! Я воева-ал!» А у самого усы и чубчик, как у Гитлера. Ну настоящий Гитлер! Ещё и два зуба, как у зайца, вечно видны. А вдобавок – курит. Когда Берманши нет дома. Высунется в окно, чтобы в комнате не было запаха, и поглядывает воровато направо. И если слышит голос Берманши, быстренько бросает свою папироску в жёлтые цветы, которые Геня сажает на своей крутой, как стена, горке.

Эти жёлтые цветы похожи на крошечные подсолнухи, в которых никогда не созревают семечки. И листья у них шершавые, как наждак, можно оцарапаться. Когда Геньки не было дома, мы карабкались на её горку – проверяли, нет ли в цветах семечек. Да хоть бы и была она дома... Никто её не боялся. Пока разлепит свои сонные бесцветные глаза, пока откроет вялый брезгливый рот, пока застучит палкой по стеклу – все успевали удрать.

И вот что странно: у каждой из этих соседок был свой ярко выраженный вкус и стиль. Казалось, они зорко смотрят друг за другом, опасаясь хоть в чём-нибудь сойтись. И поэтому всю свою жизнь, когда видела топинамбуры, я про себя их называла – «Генькины цветы». Турецкая гвоздика и золотые шары так и остались навсегда «Ксенькиными», таволга и ирисы – «Дусиными». А чайная роза – если чахлая, конечно, – «Лейбовичкина роза».

И очень, очень многие цветы для меня до сих пор – «Фроськины».

* * *

Мы тогда считали Фроську очень красивой. Лицо большое, круглое, каждая щека как красное яблоко, а ноздри наставлены прямо вперёд, будто

две точилки для карандашей. Однажды Римка так и сказала ей. Сложила руки, как будто молится, и сказала: «Тётя Фросичка, какая вы красивая!» Фроська так и набухла, так и подобралась от удовольствия. Поправила розовый воротничок, и брошечку, и серёжки, и какую-то блестяшку на голове... И вот стоит Римка перед Фроськиным окном, будто перед иконой, а мы за Римкой стоим. И видим, как сзади подходит к Фроське её Василий, в милицейской своей форме, с длинным своим узким лицом, совсем не злым – скорее каким-то пасмурным. Берёт Фроську за крендель, скрученный на затылке, и начинает бить её головой об стену. Фроська визжит, как поросёнок, но никто не спешит ей на помощь. Наверное, потому, что Василий милиционер и все его боятся.

Старухи сидят на своих скамейках. Слушают. Лица у них непонятные, оценивающие. Будто они должны высказать своё мнение о том, как она кричит, Фроська, хорошо ли. Мы спускаемся с горки, садимся рядом со старухами, ждём, что будет дальше. Фроська не умолкает, старухи ничего не говорят, и Нонка сама затевает разговор.

– Нет. Мой папа такого не делал. Мой папа никогда не бил маму головой об стенку. Мой папа тоже любил водку, но никогда не бил маму головой об стенку!

Старухи нехотя поворачиваются к Нонке. Лица у них безжалостные, насмешливые. Вот-вот скажут что-нибудь такое... совершенно невозможное. И Сорока говорит-таки:

– Твой папа... Васька хоть работает, хоть содержит Фроську. Она сидит целыми днями то в одном окне, то в другом, жир набирает. А твой папа у матери твоей на шее сидел. Твой папа забирал у твоей мамы всё, что она зарабатывала! Шила, стирала на людей днём и ночью! А он, сволочь, всё пропивал, царство ему небесное!

Нонка тогда поднялась и ушла, а я пошла за ней. Потому что старухи были не правы. И другие дети пошли за нами. Мало ли у кого какой отец! Отец – он и есть отец, этим никого дразнить нельзя. Дворовой кодекс не позволял. Ну да, Нонкин отец был пьяница. А Веркин – полицей, сидел в тюрьме. А Иркиного отца Грунька прятала под кроватью, чтобы его на фронт не забрали. А Римкин отец хоть и герой, хоть и ходит по праздникам с орденами, но всем известно, что он «контуженный». Ни с кем не здоровается, а после работы переписывает в тетрадочку статьи из газеты

«Правда». Лоркиного папу исключили из партии за то, что отказался ехать в село. У Таськи отец вообще был какой-то «рыжий немец». А мой папа по ночам ходит к «частнику» и варит там конфеты. Это тайна, об этом никто не должен знать, но знают все. Но меня папиными конфетами ни разу не попрекнули. Имя – другое дело. Оно ведь у меня действительно гадкое. Пусть дразнятся. Это можно и потерпеть.

– Нонка, – говорит Толик, – вот ты сама когда-нибудь пробовала водку? Какая она? Чего они её все так любят, взрослые?

– Ой! – вдохновенно замирает Нонка. – Така-ая вку-усная!

Я знаю, что это неправда. Мне как-то понадобилась бутылочка для игры. И я нашла как раз подходящую в буфете. Маленькая такая. «Четвертушка» называлась. Пустая бутылка, только несколько капель на дне. И, чтоб не капать на пол, чтоб не идти в коридор к помойному ведру, я вылила эти несколько капель в рот. Мне показалось, что будь этой водки чуть больше, я задохнулась бы насмерть. Я и так каталась по полу, пока не перестало жечь.

«Вку-усная...» Если бы Нонка действительно попробовала когда-нибудь водку, она не брякнула бы такую глупость. Ещё и глаза закрыла, и губы свои растянула! Как тогда, на горшке.

Я, конечно, промолчала. Я никогда никого не задирала, Нонку тем более. Её ведь только зацепи... Я вообще держалась от неё подальше. Не потому что мама велела, а потому что хотела, просто мечтала о том, чтобы Нонка забыла о моём существовании. Но она сама искала меня, повсюду меня искала, шарила глазами кошачьими, будто ей не хватает чего-то. Смотрела мне в рот, нельзя ли ещё чего-нибудь у меня забрать. И каждый раз я попадалась!

Просто непонятно... Всегда одно и то же. Знаешь ведь, что во дворе заберут, – ну так иди себе гулять с пустыми руками, оставь дома свой любимый чайничек! И будет он у тебя всегда, ещё и детям твоим останется! Так нет же! Просто невозможно с ним расстаться даже на минутку, не то что на час. Нет сил. И я, дождавшись, когда мама отвернётся, снимаю его с полочки и, прижимая к груди, иду к дверям. Стоя в парадном, на сквозняке, рассматриваю его – и плачу, прощаюсь со своим любимым чайничком, потому что знаю: сейчас его у меня отнимут или просто разобьют. И не успеваю я выйти во двор, как Нонка тут же оборачивается и идёт, идёт ко мне, будто она, Нонка, гвоздик, а чайничек – магнит.

– Ой, какой чайничек! Дай на минутку подержать. Ну на минутку! Ты что, жадина-помадина?

И я протягиваю чайничек, и Нонка смотрит на него ласково, очарованно. Веснушки на лице её темнеют.

– Ну всё, подержала, теперь отдай, – говорю я.

– Подарки – не отдарки, – отвечает Нонка. – Солёная печать – ничего не ворочать!

И она уходит как ни в чем не бывало. Туда, где под грушей вся наша компания играет в дочки-матери. Я смотрю издали, как она ставит мой чайничек на кирпич и что-то всем говорит. И все оглядываются на меня с удивлением, и лучшая моя подруга, Лорка моя, бежит ко мне сердитая и злая.

– Ты зачем Нонке чайник подарила? Лучше бы мне подарила или хоть Римке! Она с тебя издевается, а ты ей чайники даришь!

– Не дарила, не дарила я ей чайник! Она забрала у меня!

Лорка возвращается под грушу, что-то доказывает Нонке, старшим девочкам, и все начинают кричать на Нонку, а Нонка улыбается. И видно, что ничем её не прошибёшь. Нет у неё, нет у неё никакой совести. И все это знают! Все знают, что ничего не поможет. Она улыбается. Боже, как она противно улыбается!

Вот если бы сейчас все побросали свои игрушки, и стали бы вокруг Нонки, и кричали бы: «Нонка-купонка! Нонка-купонка! Рыжий пёс!» Она бы чайника, конечно, не отдала, но пусть бы хоть улыбки этой не стало! Гадкой, гадкой, гадкой этой улыбки! И нет ведь ничего проще! Один разик крикнуть, прямо отсюда, издали... «Нонка-купонка!» И все тут же подхватят, и будет она гавкать, будет напрягать до красноты свою шею, как собака, которая не может сорваться с верёвки!

Я даже рот открываю. Но крикнуть не могу. Вместо этого я начинаю плакать. Тоже, тоже позор! Сейчас все начнут кричать «плакса-вакса». Но Лорка, суровая моя подруга, бросается ко мне и решительно ведёт за руку к себе домой. Оказывается, её исключенный из партии папа как раз сегодня выходной. Высокий-высокий, сухой-сухой. В белом своём костюме сидит на диване, читает газету.

– Что случилось? – спрашивает он и поднимает на лоб очки. – Чего это Цинга так плачет? Упала, что ли?

– Нет. Её снова Нонка обидела. Ей на именины подарили детский чайничек, а Нонка забрала. Па-а, пойдём во двор, скажешь, чтоб отдала. Её мама за неё никогда не заступает, ещё и наругает. Пойдём, пап!

– Нет, – говорит Лоркин папа. – Я в ваши детские дела вмешиваться не буду. Вы же знаете, что Нонка – вредная девка. Зачем вы с ней играете?

– Она не играла, пап. Она только что вышла на улицу, а Нонка к ней пристала. Знаешь, как она делает? Просит сначала: «Дай посмотреть, дай посмотреть!», а потом себе забирает!

– Так не давайте ей посмотреть...

Ага, легко ему сказать «не давайте»... Тут порядок такой: не хочешь – не выноси игрушку во двор. Но раз уж вынес – жадничать некрасиво. Вот мяч, к примеру. Все играют одним мячом. Не выходить же каждому со своим мячом. И никто ведь не забирает чужой мяч. Впрочем, Нонка у меня когда-то и мяч забрала.

– Она сама должна уметь за себя постоять, – продолжает Лоркин папа. – Я ей уже сто раз говорил: «Давай сдачу!» Ты что думаешь, одна Нонка такая на свете? Пока ты не научишься за себя постоять, Цинга, дела не будет.

Он снова читает газету. Лорка бурчит сердито.

Мы возвращаемся под грушу. Нонки там уже нет. На всякий случай утащила мой чайничек домой, в свою нору, перегороденную ситцевыми занавесками. А игра продолжается. Галка на двух кирпичках варит кашу. Во двор привезли целую гору песка, почти белого. Когда разбавляешь его водой, получается ну прямо настоящая каша! И так вкусно похрустывает этот песок, так уютно ворочается в нём совочек, что хочется попробовать. Кашу я, вообще-то, ненавижу, особенно манную. А вот это – ела бы. Галка мешает, дует, подносит к губам – ну точно как моя мама! Или моя няня.

От настоящей каши меня тошнит. Наверное, тут дело в запахе. Уже от него начинает тошнить. Каша ещё не готова, а я плачу. И говорю, что не могу её есть. Но они мне начинают читать сказки, и я стараюсь. Я ведь хочу быть хорошей. Хочу быть послушной и толстой, как Света Митник. Но все сказки я уже знаю наизусть, поэтому они не очень-то помогают. И я с ужасом жду, что

в ложке вот-вот окажется кусок – непроваренный комочек манки или пригорелый соскрёбыш. Тогда меня вырвет, и это будет ужасно. Мама станет кричать и рассказывать, как она в моём возрасте подбирала на улице огрызки, как ходила смотреть на девочку, которой давали – одной! – целую куриную ножку, потому что у неё, у мамы, дома куриную ножку делили на шестерых детей – и то по праздникам. А я неблагодарная, и всё такое. Ремень. Угол.

Когда я была совсем маленькая, Нюра зажимала мне нос, а я задыхалась, мотала головой и, в конце концов, открывала рот, чтобы вдохнуть. Нюра совала мне ложку, а я всё равно выплёвывала, отфыркивала эту кашу.

Несколько раз Нюра пробовала кормить меня на улице. Но на улице я и вовсе убегала. Нюра бежала за мной с тарелкой, с ложкой. Она звала на помощь старших детей, и дети меня ловили. Держали за обе руки, как фашисты какие-нибудь. Ждали, пока Нюра подоспеет, пока зажмёт мне нос и сунет кашу. Тут я снова вырывалась. А, может, они нарочно отпускали меня? Я добегала до первого же дерева, и меня рвало. Тут дети снова догоняли меня... И всё это повторялось от ложки к ложке, от дерева к дереву. По Коминтерну и за угол по бульвару Шевченко, со смехом и криками. Ловили меня предатели, и я на них не обижалась. Они всё это делали без злобы, из уважения к няне, что ли.

Кормить детей на улице придумала тётя Бузя, Римкина мама. Она вообще была замечательная выдумщица. Как-то раз устроила именины Римкиной кукле. Взяла большой кусок фанеры, который стоял возле Коганшиной квартиры, положила его на четыре табуретки. Получился замечательный стол, да ещё где – прямо на Фросиной горке, почти среди цветов! Все сбегали домой за маленькими стульчиками, а тётя Бузя расставила на столе игрушечные тарелочки. В каждую тарелочку положили по крошечному блинчику, по конфетке и по две черешенки. Мне казалось, что я никогда не ела ничего вкуснее! А вокруг стояли наши мамы, и смотрели, и жаловались друг другу, что у детей нет аппетита, что их домой не зазовёшь поесть...

И тут тётя Бузя сказала:

– Конечно, в такую погоду никому не хочется домой! Даже мне не хочется. Давайте вот что сделаем: вынесем им обед прямо сюда, и пусть они едят прямо тут, на улице. Вот увидите, они будут хорошо кушать.

Я не думала, что другие мамы согласятся, но все вдруг согласились. Разошлись по домам и вернулись с тарелочками, мисочками. И вот все мы сидели вокруг этого стола, все, кроме самых старших девочек, и ели каждый что-то своё. И так это было интересно! Римка ела блинчики, Нонка картошку с селёдкой, а я яичницу с помидором. Вообще-то, яичницу с помидором я бы и дома съела. А здесь я бы съела не только блинчики, не только картошку с селёдкой, но даже борщ или суп. Наверное, потому, что пахло вокруг не едой – пахло маками, пахло чернобривцами, летом пахло. А позади нас стояли мамы, но теперь они любовались нами и делали ладошки козырьком, чтобы не щуриться. А мы, наоборот, сильно щурились и улыбались друг другу.

Нонка сидела как раз напротив меня. Лицо у неё от солнца было белое по краям, а в середине тёмно-розовое. Казалось, солнце просвечивает её насквозь. И она так добродушно, так приветливо на меня смотрела! Я была счастлива, я знала, что жизнь теперь пойдёт совсем по-другому. Что мы теперь всегда будем есть у Фроси на горке, все вместе. И раз так, то никогда больше не будем ссориться, толкаться, обзываться... А вот так вот будем сидеть и щуриться, сидеть и щуриться. И, может, к нам во двор привезут карусель и все заборы снимут, так что можно станет целый день ходить среди цветов. Зачем же заборы, если мы теперь едим все вместе? А между цветами проложат дорожки из толстого стекла, а под этим стеклом будут «секреты» – из цветов, из пёрышек, из бусинок, из фантиков. И не надо будет их прятать, не надо будет закапывать. Потому что никто больше не будет разорять чужие «секреты», раз теперь мы едим все вместе. А под домами мы посадим подсолнухи.

Я тут же, прямо за столом, рассказываю детям об этом светлом будущем. Все приходят в волнение, и мы, не откладывая, начинаем готовиться. Перво-наперво надо убрать во дворе: собрать окурки, огрызки, стаканчики от мороженого. Во-вторых, помыть Лоркин флигель, а то он весь чёрный. Ну и, разумеется, срочно начать собирание всяких драгоценностей для «секретов» – у кого что есть. Я даже подумала: а не вырезать ли мне цветные картинки из сказок Пушкина?

– А где мы возьмём семена подсолнуха? – волнуется Римка.

– Да, – говорят ребята, – где возьмём семена?

– Так ведь это семечки! – говорю я. – Неужели ни у кого нет семечек?

И все оборачиваются ко мне с уважением. Наконец-то я оказалась умнее всех!

– Вот, у меня есть! – говорит Витька и выворачивает из кармана полную горсть пережаренных семечек пополам с шелухой. Он обращается ко мне так, будто я немножко начальница. Я вдруг замечаю, что не такой уж он противный. И короткие серые волосы его больше не похожи на волчью шерсть, они очень симпатично золотятся на солнце.

Сразу после обеда мы берём ведра, тряпки и принимаемся мыть флигель. Чёрная грязь так глубоко въелась, что водой не смывается, её приходится соскабливать стеклом. И там, в глубине, оказывается ярко-жёлтый кирпич. Будто солнышки на чёрном небе! Даже так – и то уже красивей. А что будет, когда мы всю стену доскоблим окончательно! Когда вдоль стены вырастут – один за другим – вот таку-ущие подсолнухи! Галка с Валькой уже закапывают Витькины семечки и тут же поливают из бутылок.

Я скоблю и жду. Вот сейчас выйдет Котова, выйдет старенький Зак – и увидят, какую красоту мы тут навели!

Он тут же и появляется в окне. Нежный, пугливый старичок, разбуженный нашим гомоном. Лёгкая седина его шевелится, прозрачные глаза лучатся в серой тьме комнаты.

– Дети, – горестно всплёскивает он прозрачными ручками, – что же вы делаете? Зачем вы стену поливаете водой? У нас и так сырость! Боже, у нас такая сырость!

Нам становится стыдно. Да и не отмыть её, эту стену, даже если тереть целый год. А что ещё можно сделать? Заборы нам не снять, это надо просить взрослых. Не очень-то мне верится, что Лоркина мама, или Катя, или Грунька с Блиндершей согласятся убрать заборы. Качели, карусели, песочницы – это всё от дворника зависит. А он обещает, обещает – и ничего не делает.

Остаются только «секреты». У каждого что-нибудь такое есть – заветное.

С этими мыслями мы и расходимся по домам.

* * *

Ночью я плохо спала, не знала, что делать. Главная моя ценность была – четыре бусинки, подаренные Лоркой. Красненькая, жёлтенькая, зелёненькая и прозрачная. Расстаться с такой красотой было просто невыносимо. Да хоть бы они были совсем некрасивые – это ведь Лоркин подарок! Я никому бы его не отдала. Пусть бы меня даже били, пусть бы даже пытали ржавым гвоздём. Это я должна была сохранить на всю жизнь.

Мамин серебряный пульверизатор, с выпуклым цветочком на боку... Мама им никогда не пользуется. Но ведь он всё-таки её. Выносить его без спросу на улицу нельзя. А если спросить – не разрешат.

Проще всего расстаться с конфетными фантиками. Их тоже жалко, но в конце концов когда-нибудь ведь купят новые конфеты, новые шоколадки... Так что эти можно отдать. И золотую фольгу тоже.

Что еще? Лоскутики, которые подарила мне тётя Сара. Кроме бархатных. Бархатные попадаются очень редко. Да и некрасиво будет, если прижать их стеклом. Вырезать картинки из книжки? Ну, за это точно влетит. Да и жалко как-то.

Я рада, что никто не может прочесть мои мысли. А то ведь я действительно получаюсь самая что ни на есть жади́на-говя́дина.

Имеется, имеется у меня ещё одна драгоценность. Прозрачно-стеклянная коробочка, а в ней разноцветные стёклышки всех, всех цветов! Даже самых редких. Годами собирала на улице, вынимала из поломанных калейдоскопов, дробила на кусочки помельче. Прячала от мамы. Детям ведь нельзя играть с битым стеклом, им можно порезаться, его можно загнать в палец. А если вообще в глаз попадёт? Нет, это никому нельзя показывать.

Кто-нибудь непременно наябедничает.

Мне очень стыдно. Я оставляю окончательное решение на утро.

Утром я достаю свою коробочку, вытаскиваю из-под игрушечного диванчика. Господи! Какая красота! Совсем прозрачная круглая коробочка. Прозрачный цвет – он ведь красивее даже, чем золотой, чем красный. Я приподнимаю круглую крышечку, а там, как драгоценные камни в ларце у Кощея Бессмертного, поблёскивают, переливаются мои стёклышки. Если разгладить ногтем фольгу от большой шоколадки, высыпать на неё стёклышки – и не просто так, а сложными узорами вроде тех, что в

калейдоскопе, а сверху придавить большим крепким стеклом... такая будет красота! И снова окажется, что моя придумка самая лучшая!

Я начинаю быстро одеваться: боюсь, что кто-нибудь из старших девочек уже додумался до такого. Может, во дворе уже вообще всё сделали без меня? Может, пока я тут лежала и жадничала – там и карусель уже поставили, и заборы убрали, и стеклянные дорожки проложили? И под ними сияют, переливаются узоры из такого всякого, чего у меня и в помине нет. И для моих стёклышек не осталось ни одного свободного уголка... Нет, этого быть не может! Для такой красоты всегда найдется хоть какое-нибудь местечко.

И я выхожу из дому. Я держу свою коробочку обеими руками, да ещё прижимаю к груди, чтобы не уронить. Потому что руки дрожат. Тук-тук-тук – сандалеты по деревянным ступенькам чёрного хода. Выхожу на солнце, щурюсь, оглядываюсь. Карусели нет, дорожек – тоже. Даже стёкол – и тех ещё не привезли! И подсолнухи пока не взошли. И заборы все на месте.

Откуда-то из-за Лёвкиного палисадника появляется Нонка со своими то ли рыжими, то ли не рыжими косичками, с белыми бантами, по-вчерашнему благостная и спокойная. Направляется прямо ко мне и очень уважительно, как воспитанный ребёнок, спрашивает:

– Что это у тебя?

Мне бы убежать... Но теперь, когда мы все вместе едим за одним столиком... И надо ведь как-то узнать про карусель, про стёкла и про всё такое.

– Это стёклышки, – говорю я. – Для «секретов». Мы ведь будем делать стеклянные дорожки с узорами?

– Конечно, – уверенно отвечает Нонка. – Вот все соберутся – и начнём. А ну-ка, покажи, какие у тебя, а я тебе свои покажу.

И лицо у Нонки такое правильное, как у Светы Митник.

Я протягиваю ей коробочку. Она берёт её, поднимает крышечку, прикусывает губу от восхищения.

– Ой, какая красота! Ни у кого такого нет! Это будет первое место!

Она зачарованно ворошит мои стёклышки пальцем. Сейчас отдаст. Посмотрит – и отдаст. Теперь ведь всё пойдёт по-другому!

Ну вот. Нонка протягивает мне коробочку, но прежде, чем я успеваю взять её, делает шаг назад, и ещё один, и ещё... И, кружась, как балерина, по всему двору, фонтанчиком разбрасывает мои стёклышки из коробочки, вскрикивая каждый раз: «Салют! Салют!» И в завершение всего швыряет мою коробочку в каменную стену бывшей тюрьмы, так что и от неё остаются только мелкие осколки.

Я не плачу. Я просто не верю, что такое могло произойти. Я рада, что никого нет во дворе и никто не заставляет меня дать Нонке сдачу. Если бы я была русская, я и без них дала бы ей сдачу. Да хоть бы и не русская! И так дала бы! Но я просто не знаю, как это сделать. Подойти и ударить? Вот так вот просто? По лицу?

Я уйду домой. Там дома у меня остались четыре бусины, которые я никогда, никогда не покажу Нонке. И вообще никому! Я даже из дому больше не буду выходить. Я протискиваюсь под цепочкой в приоткрытую дверь. В коридоре мама лепит вареники, а Фаня Наумовна жарит котлеты.

– Что такое? – спрашивает мама. – Почему ты вернулась так скоро? Упала?

Я мотаю головой. Наконец решаюсь открыть рот.

– Там нет детей. Вообще никого нет.

– Тебя кто-то обидел? – спрашивает проникновенно Фаня Наумовна.

Я снова мотаю головой.

Да, решено. Не буду выходить, буду целый день смотреть в окно, дышать воздухом и со всеми здороваться, как Фаня Наумовна.

Чувствую, что они перемигнулись за моей спиной.

– Подожди, – говорит мама прежде, чем я успеваю закрыть за собой дверь. – На, вот тебе.

И она протягивает мне довольно приличный кусочек теста. Для утешения. Я ведь даже не просила.

* * *

Нет. Стоп. Всё было не так. Тесто она дала мне на следующий день. И не после того, как Нонка разбросала стёклышки, которые я собирала целый год. Кажется, это было после шариков.

* * *

Случается же такая удача в жизни! Приходит вдруг твоя тётя, в самый обычный день, не в Первое мая, не в Седьмое ноября, даже не в день твоего рождения. И вручает тебе целую горсть шариков. Причём не просто шариков. Все шарики – разные! Красный, синий, зелёный, жёлтый, малиновый и оранжевый. Я и не знала, что на свете бывают оранжевые шарики. Ну просто обалдела от счастья. И... потащила их, конечно же, во двор. Не надувая. Знала, что во дворе мальчишки только и ждут, как бы это стрелнуть в чужой шарик из рогатки. Выхожу во двор, а там, как назло, только малышня. Ну и... Нонка. Сразу засекла мои шарики и говорит: «Давай надуем!»

– Нет, – строго говорю я. – Мне не разрешили.

– Хорошо! Не будем надувать, – смиряется Нонка. – Я покажу тебе что-то ещё лучше.

Я уже знаю, что Нонка меня непременно обманет. Она же как лисица из басни Крылова! А я... хуже любой вороны. Я верю в то, что она сейчас покажет мне что-то необыкновенное. А вдруг действительно покажет?

– Давай один, вот этот, – указывает она на малиновый шарик.

Я рада, что хоть не красный, – и даю. Она делает действительно нечто странное. Идёт прямёхонько к дворовому крану, надевает мой шарик на носик. Пускает воду. Шарик начинает быстро раздуваться, соскакивает с крана. Нонка поднимает его и снова надевает, но теперь уже придерживает шарик пальцами. Это действительно любопытно. Шарик как-то так интересно колыхается, колыхается... И вдруг взрывается, обдаёт водой нас с Нонкой и малышню, собравшуюся вокруг.

Нонка отплёвывается, вытирает лицо.

– Не получилось... – досадует она. – Давай другой!

И я даю. Этот шарик, синий, надуть водой удаётся. Нонка осторожненько закручивает его. Он такой тяжёлый – тяжелей мяча! И колыхается, будто живой. Нонка выносит его на середину двора и высоко подбрасывает. Летит шарик как-то странно, в сторону, на Фроськину горку. И там мы находим его, разорванный почти надвое.

– Снова не получилось! – сокрушается Нонка. – Давай следующий!

И я, один за другим, скармливаю этой гадине все шарики.

А на следующий день – дополнительная досада. Я нахожу во дворе ещё один шарик. Совсем уж невиданного цвета. Белый! Если бы Нонка не уничтожила шесть моих шариков, у меня их было бы семь, и все разных цветов. Это даже странно, что никто не заметил такой большой, такой роскошный шарик! Мне так повезло, потому что кто-то втоптал его в грязь, прямо возле колонки. Правда, из-за этого его уже никак нельзя взять в рот. Ведь всем известно: если с пола что-нибудь поднять и взять в рот, то можно насмерть отравиться. К тому же его наверняка кто-то брал в рот до меня. Это сразу ясно, потому что шарик явно растянутый. Поэтому я беру его осторожненько двумя пальцами, ополаскиваю и по Нонкиному примеру надеваю на кран. Шарик раздувается очень красиво – куда лучше, чем те, вчерашние. И я так счастлива, что Нонки рядом нет. А то она непременно и этот забрала бы.

Но его всё равно отнимают у меня. Старая Ксения, Гришкина жена.

– Где ты его взяла? – спрашивает она.

– Вот тут, – пугаюсь я. – Лежал на земле. Он ничей! Кто-то потерял, наверное.

Ужасно неудобно... Может, сама Ксения его и потеряла. А то чего бы она так сердилась?

Ксения срывает шарик с крана и бросает обратно в лужу. А потом долго моет хозяйственным мылом то кран, то мои руки, то свои. У меня даже белые морщинки появляются на подушечках пальцев, будто я стирала. Я жду, когда Ксения наконец наберёт воду в своё ведро. Я даже провожаю её немножко, до дверей, чтобы не было у неё никаких подозрений. Но когда я возвращаюсь к луже, шарика моего там уже нет. И я знаю, кто его забрал. Больше просто некому.

* * *

Тут, конечно, каждый разумный человек скажет, что с такой дурёхой, с такой бестолочью, как я, только так и надо поступать. Ведь, в конце концов, Нонка не била меня, не выкручивала у меня из рук все эти драгоценности. Если ты сама всё знаешь наперёд – почему не уходишь сразу, как только увидела её?

Легко сказать... Во-первых, Нонка во дворе была всегда. А других девочек то выпускали, то не выпускали, то они куда-то уезжали. А играть-то

надо с кем-то! Во-вторых, играть с Нонкой было не так интересно, как с Лоркой или даже с Римкой, но всё-таки интересней, чем с другими девочками. Она такие всякие штуки придумывала! Ну, например, сидим мы там на скамеечке, на угловой, и грызём семечки. Как раз такой сезон, когда детям покупают семечки прямо с подсолнухом. И вот все сидят, каждый со своим подсолнухом, здоровенным, как бубен. И все грызут. Грызут себе и грызут. А Нонка отламывает кусок подсолнуха – и там, в серединке, оказывается что-то такое влажное, беленькое, похожее то ли на вату, то ли на зефир. И вот этим беленьким Нонка принимается натирать свои туфли.

Всё-таки не каждый до такого додумается! Старые чёрные туфли начинают блестеть. «Вот. Это у меня лакированные туфли!» И она тащится тут же на улицу, чтобы там прохожие думали, будто у неё действительно лакированные туфли. Мы тоже натираем туфли и тоже идём на улицу...

Или вот скакалка. Нонка скачет со скакалкой лучше, чем все девчонки во дворе. Нонка может от десятков до единиц и все «экзамены» отскакать за один раз подряд, без единой «прррр». Она может сделать десять крестиков подряд! Я так не могу даже в самые удачные дни. Прыгаю тяжело, будто вешу сто килограммов. Ноги по земле так и топают, так и шаркают! Скакалка моя – слишком лёгкая, вялая, как дождевой червяк, – летает медленно, кое-как, будто ей играть неохота. А Нонка – как она скачет! Будто не весит ничего. Будто она сама собой висит стройненько в воздухе и только опускается на миг, на миг, на миг, на миг, чтобы клюнуть носочками, самыми кончиками туфель жёсткую серую землю. Скакалки Нонкиной, шустрой, тяжёлой, – и не видно. Только воздух вокруг Нонки быстро движется и посвистывает: «Фись, фись, фись, фись!»

Нонка может достать мяч из любой ямы. Может залезть на забор. Может без спросу перейти через дорогу и купить себе мороженое. А когда я однажды отважилась сделать то же самое, она тут же побежала к моей маме, всунула свою – всё-таки рыжую! – голову в нашу приоткрытую дверь и доложила, что я ходила сама за мороженым, а теперь спряталась за Лёвкиной пристройкой и глотаю его большими кусками. И мама, конечно, побежала за мной. Остаток мороженого отняла и дала несколько раз по попе, а Нонка стояла рядом и с удовольствием наблюдала эту сцену.

* * *

И теперь скажите: как же мне было не злорадствовать, когда Нонкина мать наказала её за рубль? Рубль лежал на столе, а она взяла без спросу. И пошла на детский фильм в новый кинотеатр. Да ещё других детей подговорила. А это, между прочим, через четыре улицы, через шесть дорог!

Говорили, что в новом кинотеатре три зала. Красный, синий и зелёный. Ну прямо настоящий дворец! Я тоже очень хотела посмотреть на разноцветные залы, но об этом и речи быть не могло. Ребята даже не предложили мне пойти с ними. И я была им благодарна. А то пришлось бы объяснять, что мне никак нельзя. И меня бы дразнили «боягузкой-трясогузкой». А с меня было достаточно и «цыпочки-бульончика».

Во дворе стало скучно и как-то... обидно, и я ушла домой. А снова вышла как раз к их возвращению. Они появились из подъезда яркой стайкой. Такие довольные, такие свободные, такие гордые!

– Мы смотрели кино «Застава в горах»!

– Интересное?

– Ой, такое интересное!

И тут из парадного донеслось гроханье каблуков, и растрепанные взъерошенные мамы выбежали во двор, задевая локтями друг друга. И потащили каждая своего ребёнка за руки домой. Так что я снова осталась одна. И, стоя над Нонкиной ямой, слушала, как она дурным драным голосом орёт: «Караул! Караул!! Убива-а-ют!!!»

Надо же... Даже кричала она противно. Гнусное взрослое слово, которое детям вообще неприлично произносить! «Караул»...

Не одну Нонку – всех тогда отлупили. Но никто не кричал «караул». И вообще никто не кричал кроме неё, Нонки.

Так вот, стояла я и злорадствовала. Не такой уж смелой оказалась она, Нонка! Ну да, я и мячик достать не могу, и на забор не вылезу, и пальто на меня напяливают на первую, а снимают, когда все давно уже ходят в кофтах. Но, как бы меня ни лупили – хоть рукой, хоть ремнём, – ни за что не пикну! Наоборот ещё – буду повторять что-нибудь такое: «А мне не больно, курица довольна!»

А Нонка кричала, кричала... Я уже начала бояться, что её действительно забьют до смерти. Но её просто заперли. А мама Нонкина вышла со

скамеечкой на улицу. Уселась там среди старух и стала... защищать Нонку. Как всегда.

Старухи-то ничего плохого ей про Нонку не говорят. Просто как бы чуть-чуть назло хвалят Женю. «Ваша старшенькая такая красивая! Так хорошо одевается! И парень у неё такой хороший – сразу видно, что из приличной семьи!»

А Нонкина мама гнёт своё.

– Зато Ноночка симпатичнее.

Старухи молчат.

– Ноночка вообще по характеру лучше.

Молчат.

– Она добрая, Ноночка. Вот дашь ей какой-нибудь кусочек пирога или конфетку – ну хоть такусенький кусочек! Она обязательно с кем-то поделится, никогда сама не съест! Игрушки, куклы – ничего не жалеет! Весь двор её мячом играет!

Я знаю, что взрослых исправлять некрасиво. А то бы сказала ей, что ни с кем её Нонка во дворе не делится. А что касается мячика, то неясно, с чего она такое взяла. Играют во дворе Лоркиным, или Иркиным, или Римкиным. Но уж никак не Нонкиным!

Эти теннисные мячики, белые, пушистые, появились как-то у всех одновременно. Только мне такого не купили. Мама сказала, что у меня и так три мяча. Тем более что этот белый мяч очень быстро станет чёрным. И действительно, у всех они очень скоро стали... ну, не чёрными, но тёмно-серыми. Только не у Нонки! Да, Нонка выносила свой мяч во двор. Но она же его в кармане таскала! Или за пазухой. Даже подержать не давала никому.

И вдруг в один прекрасный день достаёт Нонка этот мячик, белюсенький, как зверушка. Кладёт его на подоконник Котовой, а мне приказывает. И так это, почти мимоходом:

– Стой тут, сторожи мой мяч.

– Нонка, – отвечаю, – я же занята. Мы же играем с девочками.

– Ничего не знаю! – кричит Нонка уже откуда-то из подъезда. – Ты отвечаешь за мой мяч. Стой и сторожи.

Стоять-то я не стояла, но за мячом присматривала. Лежал себе и лежал. Лежал и лежал. А что ему сделается там, на подоконнике? Как раз моя очередь скакать «семёрки», когда я слышу за спиной плаксивый Нонкин голос.

– Ой, а где мой мячик?

Мы оглядываемся. Мячика – нет. Бегаем туда-сюда. Заглядываем во все ямы.

Нонка уже ревет в голос.

– Совсем новый мячик, ни разу не игратый, а ты его потеря-яла. Теперь откупай мне другой!

Я гложу от ужаса. Я не знаю, где берут такие мячики. У мамы теперь чего ни попросишь – она отвечает, что мы и так всем должны.

– Нонка, – начинаю я и тоже реву, – давай я отдам тебе свой большой мяч. Если хочешь, я тебе два мяча отдам.

– Ничего не зна-аю, – воеет Нонка. – Или возвращай мне мой мяч, или покупай такой же!

Я иду к маме. Несчастливая, виноватая. Говорю, что потеряла Нонкин мяч.

– Зачем ты брала чужой мяч? – напускается на меня мама.

– Не брала я чужой мяч... – скулю я.

– Как же ты не брала – и потеряла?

В конце концов, мама идёт разбираться во двор. Грунькин Шурка знает, где продаются такие мячики. Мама даёт ему деньги, и уже на следующий день он звонит в нашу дверь и протягивает... Господи! Протягивает мне мячик. Хорошенький, как зайчонок. Мячик, о котором я всю жизнь мечтала и теперь должна отдать гадине Нонке.

Я держу мячик обеими руками. Прижимаю к солнечному сплетению. И сколько, сколько пустых надежд, сколько невозможных вариантов вертится у меня в голове, пока я спускаюсь по деревянным ступенькам чёрного хода! Шестнадцать уютных пологих ступеней. Когда я буду подниматься по ним, у

меня не будет уже никакого мячика. Так, может, лучше вернуться? Бегом помчаться домой, спрятаться там навсегда, на всю жизнь. Никогда больше не выходить во двор. Не видеть Нонку с её подлыми веснушками. У других девчонок веснушки как веснушки. Откровенные, нахальные, весёлые, всегда видны. А у Нонки... Они прячутся под этим белым персиковым пушком. Их почти не видно. Пока Нонка не начинает орать, или ругаться, или что-то доказывать, или злорадствовать. И тогда они проступают на щеках, эти самые веснушки. Бледные, похожие на мелкие пятна фруктовой гнили.

Ненавижу, ненавижу Нонку! Иду – и ненавижу. А она меня уже заметила. Стоит под Таськиным окном, освещённая ярким дворовым солнцем, и видит, как я спускаюсь, как покорно выбираюсь из коричневого полумрака лестницы и протягиваю, издали протягиваю мячик. Она не бросается мне навстречу. Не выхватывает мяч из рук. Ждёт. Берёт спокойненько и начинает его озабоченно разглядывать.

– Не годится, – говорит. – Мой был пушистее. И вот тут – видишь? – красное пятно. Ты, наверное, игралась им и запачкала. А мне теперь от мамы влетит.

Похоже, она готовится зареветь. Я рассматриваю мячик, который она из рук всё-таки не выпускает, и не вижу никакого пятна.

– А вот, а вот! – тычет Нонка пальцем.

– Где? А-а... Это не пятно. Это розовая ворсинка.

– Это бра-ак, – тошнит Нонка.

Вокруг нас уже собрались ребята.

– Это не брак, – вступает за меня Витька, главный специалист по теннисным мячикам. – На всех мячиках попадаются такие пушинки. У меня тоже были – только чёрные. Дай я попробую! Может, она вообще снимается.

– А на моем не было! – не сдаётся Нонка, но мячик прячет за спину.

Чуда не происходит. Все вроде бы за меня, но что толку! У каждого свои дела. И вообще, когда я вышла во двор, играли в выбивалки.

Я тоже становлюсь в круг. И где-то с третьего удара Витька меня выбивает. Первую, как всегда.

Лоркин папа уже объяснил мне, что метаться сразу нельзя, что надо быть наготове и увидеть, куда летит мяч, а потом быстренько уклониться от него. Но я ничего не могу с собой поделаться. Как увижу нацеленный на меня мяч, так и задёргаюсь вся и уже не в состоянии понять, откуда, куда он летит. Бах по ноге! Бах по плечу!

Лорка ловчей меня. Главное, она ничего никогда не боится. Я только раз в жизни видела, как она плакала. Между прочим, из-за того, из-за белого шарика, который я на кран надевала. Нонка тогда подсмотрела, как я за Ксеньей ухажу, и шарик утащила. Таська увидела его у Нонки и сказала, что это не шарик. А что? А... Слово оказалось неприятное, гнусавое. И Лорка спросила у брата своего, у Кольки, что это такое. Колька не ответил, но улыбнулся так, что сразу стало ясно: слово действительно плохое.

Через несколько дней они с Лоркой поругались. Колька пошёл к маме и сказал, что Лорка этим Таськиным словом его обозвала.

Колька был намного старше Лорки. Сам не хулиган, но водился с хулиганами. С Лоркой они не дружили и часто ругались. Мне это было странно. Я считала, что иметь старшего брата – невероятное счастье. Но Лорка уверяла меня, что ничего хорошего. Считалось, что Лорка послушная, а Колька наоборот. Вот он и злился, наговаривал на неё родителям. И про это слово наврал. Я была рядом, когда они поругались, своими ушами слышала все Лоркины слова. И вообще начал он. Стал кричать Лорке: «Шкилет вонючий, всё кладбище завонял!» Лорка ответила: «А ты бочка с тухлыми солёными огурцами!» – «А ты – ворона общипанная!» – «А ты – крысячий хвост!»

Но ведь это всё не ругательства! А других слов Лорка не говорила. Он, гад, пошёл и просто оклеветал её! И тётя Дуся очень унижительно потащила Лорку за руку и дома сильно отлупила её ремнём.

Меня после такого ещё и во двор бы не выпустили до вечера, а Лорка тут же вернулась к нам. Вот это был единственный раз, когда я видела её слёзы. И то она уже не плакала – только всхлипывала и глаза кулаками вытирала. «Я, – сказала Лорка, – не из-за ремня плачу, а из-за несправедливости».

* * *

Господи! Как я её любила, Лорку! Да если бы не Лорка, я действительно не ходила бы в этот двор несчастный! Ведь куда ни повернёшься – везде какая-нибудь гадость! Булыжники острые торчат из земли, непонятно зачем. Об них спотыкаешься... А если падаешь, так уж не жди пощады: и колени, и локти разобьёшь, и ладошки.

А зачем в самом центре двора этот ужасный люк? Ведь все знают, что когда-то в него упал человек и убился насмерть. А ещё раньше дворник там нашёл совсем крошечного ребёночка. Взяли бы и заложили её камнями или песком, засыпали эту проклятую «калинизацию». Так нет же, накрывают железной крышкой, которая не так уж крепко держится, а часто и вовсе лежит рядом с люком.

А скамейки? Хочешь игрушки разложить или просто посидеть спокойно, а там бабки: «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» Кто к кому ходит спать, кто что с работы таскает, у кого квартиранты не прописанные... А у нас во дворе у всех ведь что-нибудь не так! Катька абажуры делает и в финотдел не платит. Ксенька ватные валенки шьёт и тоже не платит... У Витькиного отца две жены, с которыми он живёт по очереди. И у каждой по ребёнку.

Не двор, а ужас какой-то! Голову поднимешь – с чердака балка торчит, на которой висел Василий. Голову опустишь – красные плевочки Бермана. И Нонка, эта Нонка! Повсюду она! Зачем же ходить туда?

«Зачем»... Ну как же – зачем? Пройдёшь по каменной кладочке налево, обойдёшь старую грушу. Прямо за грушей – заборчик, высокие кусты таволги. А за ними – оно, окошко. Рама только что покрашена, стекло блестит. За стеклом темнеет глубина чужого жилья. Таинственная, как «секретики», которые мы закапываем в землю. И там, вровень с подоконником, – широкий письменный стол, а над ним белеет, светится главная драгоценность моей жизни – худенькая, с прямой чёлкой, со строгими серыми глазами и двумя гранатовыми зёрнами в ушках – подруга моя, моя суровая, моя справедливая, моя бесстрашная Лорка. И если даже оказывается, что её нет там, за таволгой, за стеклом, то можно стоять и ждать. Хоть целый час. Даже это, даже это хорошо! Потому что она может возникнуть в своей темноте. Потому что раньше или позже она обязательно там возникает.

Если бы не это... Ведь, в сущности, играть дома даже интереснее. Все игрушки – твои собственные. Никто тебя не перебивает, не встречается со

своими глупостями. Я люблю игры длинные, грустные – вроде оперы или кино. Ну, например, как бутылочка «Ландыша серебристого» вышла замуж за «Шипр». И у них родились пробные духи – чудные маленькие дети с золотыми крышечками, ещё и каждый со своей кроваткой. И у них полно родственников, полно гостей – всякие там пудры, помады. И враг имеется – грязная бутылка касторки.

И никто ведь мне не нужен! Пусть бы вот сейчас пришла даже сама Лорка... Скорее всего, и она подняла бы меня на смех. И заставила бы играть в другую игру, в какой-нибудь магазин парфюмерный. Скучно, неинтересно... А я всё равно была бы счастлива.

Ничего не поймёшь в этой жизни!

Я выхожу в коридор, там мама раскатывает тесто на вареники. Она всегда даёт мне маленький кусочек, и я делаю вареники для своих кукол. Если бы она дала мне ещё и кусочек настоящей начинки, я сделала бы совершенно настоящие, только совсем крошечные вареники. Их можно было бы варить в общей кастрюле с большими варениками и есть взаправду.

Но мама не даёт мне фарш.

Наверное, он очень дорого стоит. Поэтому мне приходится совать в мои вареники всякую несъедобную мелочь. А тут так сложилось, что и мелочи никакой нет. Ни на столе, ни на буфете. Делать нечего – приходится мне наковырять немножечко штукатурки из-под подоконника. Это похоже на вареники с творогом. Но варить их в общей кастрюле никак нельзя, потому что от них станут отравными и все другие вареники. Что ж, для игрушек сойдут и сырые. У меня получаются замечательные варенички. Куда красивее, чем у мамы. А всё потому, что пальцы маленькие. Маленькими пальцами всё можно делать мelenько и красиво.

Я довольна своими руками. Такие удобные, отличные руки! Как папины маленькие клещи. Папа всё время их хвалит, а большие клещи, наоборот, ругает. У взрослых руки как эти большие клещи. Когда-нибудь и у меня станут такие. Очень жаль! Но это ещё не скоро.

Я раскладываю свои вареники по красным тарелочкам. Папе «Шипру» – целых пять штук. Маме «Ландышу» – четыре, а деткам – по три.

Кто-то звонит в дверь. Но я так занята, я так счастлива, что даже не выглядываю в коридор. Кто пришёл – тот пришёл. Мне всё равно.

И тут дверь скрипит за моей спиной. Оглядываюсь и вижу... глазами моргаю, не могу поверить. И как это мама пустила её? Ведь всё время ругает меня за то, что я с ней играю! А главное – прийти ко мне домой, без приглашения, да ещё на следующий день после того, как выяснилось, что никуда её мяч не пропал! Хоть бы уж прятала у себя дома! Так нет – не выдержала, вышла с обоими! И стала врать какую-то чепуху про то, что её мяч закатился, а потом нашёлся...

Куда? Куда закатился? Просто сама же его украла. А мой, с красненькой точечкой, нагло отказалась вернуть. Хотя этого требовал весь двор. Стояла одна против всех и так нагло улыбалась, с двумя мячами за пазухой, что Витька сказал на неё «зараза». Она его «холерой» обозвала. Верка сказала «грипп». Нонка на неё – «скарлатина», Витька – «понос», Нонка – «дифтерия». Наверное, до вечера ругались бы, если бы Колька не сказал «рак». Тут Нонка как-то так вроде обрадовалась, будто выиграла что-то, скривилась и заскулила: «Э-э-то, э-э-то вы мне на-рошно на-пом-нили-и-и-и». Заплакать ей не удалось. Но она закрыла лицо локтем и направилась домой, всхлипывая фальшиво. Тут все как-то растерялись, расстроились немножко, но Витька сказал, что всё она врёт, Нонка. Что если бы у мамы её действительно был рак, она лежала бы в больнице. А она дома сидит и шьёт целый день как ни в чем не бывало.

И вот – нате вам, стоит! Стоит в дверях, между двух портьер, как артистка в оперном театре. Губы свои растянула... Будто я её звала и она наконец-то решила сделать мне сюрприз.

А мне как быть? Ну, положим, на улице я могла бы ей сказать: «Я с тобой не играю. Ты – жуличка! Обманщица!» Но у себя дома нельзя же ей такое сказать!

И я, с открытым ртом, таращусь на неё. Смотрю, как она ходит по нашей комнате и всё трогает своими руками. Кружевную накидку на подушке. «Ой, какая красивая!» Спинку кровати: «Ой, как блестит!» Пианино: «Ух ты-ы!» Фарфорового гуся на пианино: «Ой, какой гусь!» «Ой, какая девочка! Ой, какие часы! Какая коробка! Какая открытка!» И прямо заходится от восторга под моим портретом. «Ой, какой красивый!»

Портрет, между прочим, совсем некрасивый. Листья сливаются с волосами, и кажется, что у меня какая-то огромная голова. Вдобавок сразу

видно, что улыбаться мне не хотелось. Лично я стыжусь этого портрета, но родители не хотят его снять.

А Нонка руки на груди сложила, щурится, как кошка, крутится, крутится, как юла.

– Как у вас краси-иво! Как красиво! А это что у тебя? Ой, какие вареники!

Она берёт с тарелки «Шипра» вареник и кладёт в рот.

– Ты что, Нонка! – кричу я. – Выплюнь сейчас же! Он сырой!

– А я люблю сырые вареники, – безмятежно отвечает Нонка и продолжает жевать уже второй вареник.

– Отравишься, Нонка! – надрываюсь я. – У них не начинка, у них стенка внутри, я вот тут наковыряла!

– А я люблю стенку, – безмятежно мурлычет Нонка.

Я готова звать на помощь. Но тут с улицы, прямо под нашим окном, раздаётся низкий колокольный голос:

– Нонка! Ты куда делась, мерзавка? Где тебя носит?

Нонка высовывается в окно и сладенько так пищит:

– Я тут, в гостях. А ты куда, Жень?

– Куда надо. А ты домой иди. Надо матери говорить, когда по гостям ходишь.

Нонка съёживается и тут же семенит к двери. На цыпочках. И я бы такой сестры боялась. Надо же: самая красивая во дворе – и самая страшная!

Ну а я? Что со мной будет? Ведь теперь Нонка отравится. Вот я выйду во двор, а она там лежит. Возле люка. Руки крестом, глаза закрыты. Тонкие рыжие косички на земле, как две верёвки. Позовут врачей, позовут милицию. Начнут выяснять, чем же она отравилась. Узнают про мои вареники. Да хоть бы и не узнали! Если она умерла по моей вине – как же жить после этого? Ведь просила её! Но всё равно – виновата.

В тот день я так и не решаюсь выйти во двор. Прислушиваюсь. Ничего такого. Никто не бежит, никто не кричит, никто не зовёт на помощь. Когда Василий повесился, все сразу всё узнали. Славка стал ходить по квартирам и хвастаться: «А мий папка повисывся!» Эту Славкину радость никто не

осуждал. Вздыхали, переглядывались, дарили Славке всякую мелочь: конфеты, безделушки. Рябчучка вынесла стакан компота. Бегали, кричали друг другу в окна: «Шура, вы слышали, что случилось?» – «Слыхала, Галина Ивановна». – «Несчастливая Фрося, такая молодая, овдовела». – «Допился Васька...» И во дворе было такое настроение, как будто это Пасха или Троица. Всё какое-то свежее, подчеркнуто-живое. И у Коганши из-под юбки показались яркие жёлтые штаны, когда она низко нагнулась к подвалу Гуревичей и стала звать своим глубоким голосом, проглоченным и сытным, как жаркое с картошкой. «Мадам Гуревич! Мадам Гуревич! Несчастье!» – «Что? Что такое?» – скрипит Гуревичка из своего чёрного провала. – «Мой сосед повесился! Как вам нравится? Фросин милиционер – повесился!» Гуревичка в ответ что-то прохныкала по-еврейски. Но поскольку чаще всего повторялось слово «Бэлка» – плакала Гуревичка не о Василии, а о том, что невестка Бэлла снова обижает её.

Коганша выпрямляется, идёт к Генькиному подвалу. «Геня-я...» Внизу, в мутной глубине, появляется Генькино лицо, голодное и завистливое, бледное и сырое, как ливерная колбаса. – «Что-о? Что тако-ое?» Коганша наклоняется пониже, с тонкого носа её соскальзывают очки, и снова становятся видны эти штаны. Никогда таких не видела! Наверное, такие положено надевать, когда у тебя умирает сосед.

Может, она и сейчас уже ходит в них по двору? Сигналит, сигналит в сумерках этим жёлтым флагом. Прикладывает руки ко рту, как рупор: «Мадам Рябчук! Мадам Рябчук!» – «Что? Что случилось? Что там такое? Чего вы снова в этих штанах?» – «Как? Вы не знаете?! Нонка умерла! Съела сырые вареники! Ужас! А ведь могла ещё жить и жить!» – «Ну и чёрт с ней, – огрызается Рябчучка. – Самая злая девка во дворе! Деньги без спроса берёт у бедной матери. Рыжая, нахальная, а главное – похатница! Насвинячит, обидит тебя, можно сказать, обворует – и притащится в гости, бессовестная!» – «Да, но мать её жалко... И кто теперь будет в нашем доме собирать деньги на венки?» – «А Витька! Что он, сам не справится, без Нонки? Справится...»

Я пытаюсь представить себе невыносимую картину. Звонок. Кто-нибудь открывает дверь, а за дверью – угрюмый Витька, один-одинёшенек, с длинным списком жильцов на бумажке. «Соседи, мы собираем деньги на венки...» Но такая картина не удерживается в моём воображении. И каждый раз из-за Витькиной спины, то справа, то слева, показывается Нонка – с этой своей широкой котячьей физиономией, с неизменной своей улыбкой.

«Здрaсте, тётя Дусечкa! Предстaвляетe – я умерлa! Все соседи сдaют по рублю...»

* * *

Почему Нонкa? Почему Витькa? Неизвестно, но всегда они. Двa главных похоронщикa. Витькa не побоялся даже залезть нa грузовик, где лежал в своём оранжeвом гробу Вaсилий – такой плоский, длинный, с длинным лицом, с длинными вытянутыми кверху волосами нa кружeвной подушке. Я только разик посмотрела нa него – и то потом всё лето он плaвал у меня перед глазами... Чуть сумерки – тут же появляется. По холодному серебряному воздуху плaвает в своём гробу, нарядном, как колыбелькa новорожденного. И всё слышит, и всё знает, и сквозь него – видно. Жуть! А Витькa запросто залез нa кузов грузовикa и прямо в гроб Вaсилию положил хлеб – белый кирпичик, который сам же только что купил в булочной. Причём положил куда-то не туда, и старухи кричали ему, куда надо переложить... А потом ещё и венки поправил. Руками! А нa тротуаре стояли табуретки, нa них лежала крышка гроба, нa ней – синяя с красным кантиком милицeйскaя фуражкa Вaсилия. А над фуражкoй раскачивалась Фрося. Не такая нарядная, как обычно. В бордовеньком платьe и чёрном платочке. Милиционеры держали её под локотки – крепко так держали, а то бы она что-то сделала. Не знаю, правда, что. Может, побежала бы куда-то или упала бы...

А Нонкa носилась, носилась туда-сюда. И всё объясняла прохожим, которые спрашивали, почему это так много милиции:

– А как же иначе, дяденькa? Ведь он же был милиционер!

Казалось, что во всей этой истории Нонкa – немножко главная. Ну вроде как... экскурсовод. Рассказывала раз десять подряд, как Вaсилий вернулся домой пьяный, а Фроськa как раз сняла высохшее белье и наматывала нa локоть верёвку. Причём она, Нонкa, сидела рядом, когда Вaсилий подошёл к Фроське и стал требовать у неё верёвку. Он, мол, решил повеситься. А Фроськa стала обзывать его и лупить этой верёвкой. «Ну и вешайся, вешайся к чёртовой матери!» В конце концов швырнула ему верёвку прямо в лицо, а Вaсилий пошел с верёвкой нa чердак. Если бы она, Нонкa, не заметила его нa следующий день, он бы так и висел до сих пор нa своей балке.

Одна женщина особенно заинтересовалась Нонкиным рассказом. «А где вдова?» – спросила она. Нонка взяла женщину за руку и потащила её сквозь толпу показывать Фросю.

Всем стало чуть-чуть завидно: Нонка ведь не одна сидела тогда рядом с Фросей, мы все сидели на скамеечке! У ног Фроси в большой миске было сложено бельё. Бельё очень хорошо пахло свежестью, а от Василия пахло водкой и тошнотой. Все тогда были рады, что он не стал бить Фросю, а взял верёвку и спокойно пошёл к дому. Но Нонка теперь вела себя так, будто она там сидела только одна.

– Пойдёмте, пойдёмте, тётенька, я вам покажу и вдову, и ребёнка!

Мы все послушно протиснулись за ними следом, среди взрослых, высоких, как деревья.

– Вот! – сказала Нонка.

Фрося как раз особенно сильно раскачивалась и промокала лицо нарядным носовым платочком.

– Ва-ся-а-а! Ва-ся-а-а! На кого ты мэнэ покынув? Ой, люды! Я ж тую верёвку своими руками йому дала! О-о-й! Своими руками дытыну осыротыла!

– Хорошенькая! – одобрила женщина.

– А вот, тётенька, сирота!

И Нонка указала пальцем на очень тепло одетого и непривычно умытого Славку.

– Несчастный ребёнок! – сказала женщина.

Славка действительно выглядел несчастным. Он стоял в широких лыжных шароварах и в кофточке с начёсом, понутив голову. Растерянно посматривал – искоса, исподлобья. Вообще-то, голова у него всегда была такая, вроде как совсем без затылка, вся вперёд. Но сейчас оно было очень к месту: будто это беда двинула Славку по затылку. Но взгляд у Славки был скорее затравленный, чем горестный. Может, из-за Рябчучки, которая пристроилась с ним рядом и каждый раз, когда он пытался сунуть палец в нос, тянула его за локоть.

Было видно, что тётеньке Славка не очень понравился. И она снова переключилась на Фросю, как-то не к месту пухлую и пышную. Она всё раскачивалась, раскачивалась красиво, окружённая сослуживцами Василия. Все они были суровые и в парадной форме.

– Вообще-то, тётенька, он её бил, – уточнила Нонка. – Но всё равно жалко, правда? Живой человек... Это ещё хорошо, что я его заметила!

Мне тоже захотелось сказать тётеньке что-нибудь умное.

– Это ж какую силуволю надо иметь, – начала я, – чтобы самому взять да и повеситься! Вот мне однажды...

– А ну пошла отсюда, дурёха! – услышала я грубый голос Гуревичкиного Миши. – Что вы все тут крутитесь под ногами? Что вам тут – цирк?

Мне стало так стыдно, так страшно! Ведь действительно какой-то немножко цирк. Ну, не цирк... Скажем... парад. Только без шариков.

От всего от этого у меня сделалась глубокая дыра в груди. Зажимая ладошкой эту дыру, я стала пятиться из толпы. А толпа, двинувшись и заколыхавшись, вдруг сделалась гуще и стройнее, и рыдающими басами завсхлипывали вдруг трубы. Будто подали сигнал, что всё кончено, что ничего не поправить. И не положено нам знать ту тайну, которая им, трубам, известна.

Люди движутся вниз по улице за трубами. На грузовике, задрапированном красными полотнищами, плывёт лицом к небу Василий. За грузовиком – крышка с фуражкой, за крышкой – Фрося. Упирается, не хочет идти. Милиционеры ласково, аккуратненько подтягивают, подтаскивают её. И кажется, что она, Фрося, должна идти за Василием в могилу, но не хочет. А милиционеры знают, что надо.

Толпа сворачивает на Саксаганского, под нашим домом остаются только раздавленные цветки и сосновые веточки. Может, это от них, от веточек, настроение праздника?

Нонка тут же бросается их собирать.

– Не надо, Нонка! – кричим мы. – Фу, это же из гроба!

– Ничего подобного! – спорит Нонка. – Их люди просто в руках держали.

– Всё равно не надо! – надрываемся мы.

Ох эта Нонка! Каждому ведь известно: смерть – самая страшная из всех болезней. И уж наверняка – заразная.

Вообще, непонятно: как теперь Фроська будет жить в своей комнате, куда заносили мёртвого Василия? Как мы будем играть во дворе, где гроб стоял на табуретках?

– Вы как хотите, – говорит Нонка, – а я пойду в ёлку играть. У меня есть даже чем украшать. Сейчас вынесу конфеты специальные, ёлочные. Кто пойдёт со мной?

Никто не идёт, и Нонка уходит сама. Страшно за неё. Но и завидно. Ужасно хочется украшать ёлку. Ничего лучше не бывает в детской жизни. Но не с этими же мертвецкими ветками, правда? Я вообще ничего не поднимаю с пола. Ну... почти ничего. А Нонка может взять что угодно. Однажды она даже на мусорную кучу залезть не побоялась и взяла оттуда совершенно целый чайник. Мы его отмыли и играли потом в газированную воду. Из марганцовки сделали сироп. Ну, не пили, конечно... Даже Нонка не пила – Нонка, которая однажды слизывала с мостовой торт.

* * *

Как-то вечером проехала мимо нашего дома машина, гружённая мебелью и узлами. И оттуда, с самой вершины, скатился огромный торт. Вывалился на лету из коробки и разбился на маленькие куски. Машина не остановилась. И Нонка с Витькой бросились собирать эти кусочки с булыжников. Прямо сразу и ели. Да ещё и нас звали. Но никто больше не решился, даже дурачок Фуля. Мы стояли на тротуаре и кричали: «Что вы делаете? Суматики! Тьфу! Оно же грязное!» Но Витька с Нонкой ничего не слышали. Будто оглохли от наслаждения. Машина, которая катила сверху, с бульвара Шевченко, запросто могла их раздавить. Но они в последнюю секунду отскочили на тротуар. А шофер вместо того, чтобы объехать обломки торта, прошёлся колёсами прямо по бисквиту, по крему. Разгладил, размазал по булыжнику от нашего до четырнадцатого дома. И не успел он проехать, а Нонка с Витькой уже ползли по мостовой. Был вечер, горели фонари. А они на четвереньках ползли, собирали пальцами крем и облизывали – как я облизываю с миски остатки крема, когда мама делает заварные пирожные. Искали места, где погуще. И переглядывались – деловито и блаженно... Это были особые взгляды. Они как-то странно объединяли два непохожих лица –

Нонкино, плоское от блаженства, и тощее, треугольное, вечно голодное Витькино.

Потом они пошли домой мимо нас. Смотрели на всех безразлично, свысока, а друг на друга любовно. Будто после этого торта стали братом и сестрой. «Скажи – вку-усно было!» – «Ага...»

* * *

И вот, припомнив эту историю, я немножко успокоилась. Раз Нонка тогда не отравилась... А она ведь, между прочим, этот перееханный крем даже языком с булжника слизывала кое-где! Так, может, и мои вареники ей не повредят?

Но выйти во двор я решилась только на второй день. Спускалась по деревянным ступенькам, а ноги у меня так и дрожали. Пока я не услышала её голос:

Перебирая поблёмшие карточки,

Я на память оставил одну.

Эту девочку в шёлковом платичке,

Эту девочку с русской косой...

Нонка сидела на бревне, а вокруг неё стояли все девочки и мальчики. Нонка сидела на бревне и держала выбивалку так, будто это гитара. Нонка сидела... в зелёном Женином халате! «А теперь, может, ты уже да-а-мочка?» – страдальчески мотала Нонка головой. И губы у неё были такие же противные и размазанные, как тогда, давно, на горшке. Но песня была в самом деле необыкновенная. Таких жалобных даже по радио не передают.

– Дядя Ростик, когда поёт это, всегда плачет, – сказала Нонка.

Она давно уже рассказывала нам про этого дядю Ростика, но все думали, что врёт. И про песни, и про гитару. И вот, оказывается, не врала. Не сама же она придумала такое!

Нонка сделала вид, что подкручивает струны на выбивалке, и тут же снова завывала, заскулила, мотая головой направо-налево.

Разбудил меня стон в эту тёмную ночь,
Предо мною цыганка стояла,
Вся в жару и в огне, двое чёрных бровей,
И слегка на меня поглядала.
Ты не плачь, не горюй, долгожданная мать,
Не залечишь глубокие раны...

Было не совсем понятно, но так красиво!

– Может быть, он во дворе бы когда-нибудь спел? – с почти робким уважением предложил Витька. – Попроси его, Нонка, чтобы вышел когда-нибудь во двор.

Нонка даже не ответила. Тут, конечно, дело было не в Нонкиной вредности. Этот самый Ростик «встречался» с Женей, и Нонка уверяла, что они вот-вот распишутся. А Женя, всем известно, двор презирала. Если бы у них в квартире был туалет, она вообще никогда не появлялась бы во дворе. И не знали бы мы, что у неё есть такой роскошный халат. А тут этот переливающийся халат, известный всем соседям, напялила Нонка!

Странно... На Нонке он не казался таким уж красивым. Может быть, потому, что я впервые увидела халат вблизи.

В любом случае ясно было, что за этот халат Нонку вечером отлупят и поставят в угол. И снова она будет орать: «Караул! Караул!» Но стоило, стоило Нонке потерпеть ради такого мгновения, такого триумфа! Даже у Кольки в голосе звучало что-то подобострастное, когда он прошипел, процыкал сквозь свои редкие зубы: «А ещё какую-нибудь знаешь?»

Нонка презрительно запрокинула голову. Подумала. Снова подкрутила что-то на ручке выбивалки и, не открывая глаз, запела:

Вот бледной луной озарился
старый кламбищенский двор,

а над сырою могилой
плакал молоденький вор...

Гнутая лоза как-то ладно поскрипывала под Нонкиными пальцами. Когда она закончила, Галка заплакала, а Нинка – почти заплакала. И я тоже. Жалко было всех: и маму, и вора, и отца-прокурора.

– Когда дядя Ростик поёт эти песни, моя мама принимает валерьянку. Она при смерти, и ей нельзя волноваться. Один раз даже скорую помощь вызывали...

– Когда это вызывали скорую помощь? – накренила свою козью голову Верка.

Они с Нонкой жили в одной квартире, дверь к двери.

– Вы как раз уходили куда-то, – не растерялась Нонка.

* * *

Что и говорить... С появлением дяди Ростика Нонкин статус во дворе значительно повысился. Стало даже считаться, что Нонка – «второе место по красоте». Первое место была, конечно, я. Прежде всего – кудри. Потом – ресницы. Ну, и самые нарядные платья. Хотя этого я совсем уж не понимала. Как по-моему – нарядное платье могло быть только отрезное. Так, чтобы юбка поднималась колокольчиком, когда раскрутишься. И чем шире колокольчик – тем красивее. А мои... Они просто надувались, как бочонок какой-то.

Вообще-то, мне и лицо моё не нравилось. Вот если бы брови были вразлёт, глаза раскосые, как у японки, нос курносый, губы с двумя ямочками по краям... Тогда – да! Тогда было бы красиво.

Когда никто не видел, я перед зеркалом вносила все эти поправки – пальцев на руках хватало тютелька в тютельку. Но людям нравилось как есть. И я так привыкла к этому, что всегда волновалась, когда в очередной раз заходил разговор о красоте. Ужасно боялась: а вдруг окажется, что я больше не первое место!

Раньше вторым местом была Римка, а потом стала она, Нонка. Может, оттого, что Женя отдала ей свои красные бусики. И ещё сумку, которая

называлась «радикуль». У неё вместо ручки была петля, которая надевалась над запястьем, а кисть лежала поверх замочка. Девушки, которые ходили с такими сумками, очень изящно оттопыривали руку в сторону и особым образом виляли попкой. Нонка тоже так делала. И тоже виляла: тык-тык, тык-тык.

В общем, когда в очередной раз выбирали главную красавицу, решили, что второе место – Нонка. А Римка – только третье. Римка вроде бы не огорчилась – даже наоборот, стала спорить и доказывать, что Нонка не второе место, а вообще первое. Я тогда до смерти испугалась.

Вот же как странно... Меня ведь просто тошнило, когда кто-нибудь подходил ко мне и требовал: «Закрой глаза, покажи ресницы». Но если бы во дворе появилась девочка, у которой ресницы длиннее, – я бы, наверно, погибла с горя.

Вот и в тот раз. Когда Римка сказала, что Нонка красивее, чем я, у меня чуть сердце через горло не выскочило. Хорошо, что все ребята на Римку сразу зашикали. А Верка вообще сказала, что Нонка – второе место не потому, что она красивая. Она даже не симпатичная. Она просто – «ничего». Но другие наши девчонки ещё хуже.

Тут Нонка прямо-таки взбесилась, стала кричать, что некоторые других критикуют, а сами вообще уроды. Что Верка похожа на козу, да ещё губастую.

Верка только плечами пожала. И спокойно сказала Нонке, что она, Верка, действительно – уродка. Но она и не строит из себя.

Все сразу бросились уговаривать Верку, что она никакая не уродка. И я громче всех уговаривала. Утверждала, что раз у Верки есть ямочки, значит, она красивая. У кого есть ямочки – тот красивый, это всем известно.

* * *

Хоть и были у Верки ямочки – но, когда играли в дочки-матери, Верку всё равно никто не хотел брать в дочки.

Из старших девочек с нами играли только трое: Валька, Галка и Милка. Кто выходил во двор первый, брал в дочки меня и Римку. Кто второй – Лорку и Нонку. А кто третий – тот уж Ирку и Верку. Почему-то первая всегда выходила Валька. Помню, как Галка однажды разошлась. «Да что это такое?

Почему и муж всегда достаётся одной Вальке? (А муж у нас действительно был только один – Витька). Почему у неё дочери всегда самые лучшие, а мне попадает одна дрянь?» «Дрянь» – это были Верка и Ирка...

Вообще-то, дочкой быть неинтересно – какой бы маме ты ни достался. Это всё равно что быть куклой. Ты сидишь, как дурочка, на песочной горке, а мама вокруг тебя хлопочет, строит тебе песочный диванчик, песочный стол, варит кашу из песка... А дочкам остаётся только смотреть, глазами хлопать.

Когда у Нонки появились бусы и «радикуль», она сказала, что теперь сама будет «мамой». Но это было бы уж слишком. Все младшие девчонки возмутились, сказали, что Нонка не старше их. Тогда Нонка смирилась, но объявила, что она – «взрослая дочка» и уже учится в институте. И вот как раз сейчас идёт гулять, а меня берёт с собой. Она взяла меня за руку и водила по двору в разные закоулки и везде что-то покупала. Потом потащила на горку, туда, где между двумя сараями проходила толстая труба бывшей тюрьмы. Труба была обмотана соломенными косами. Нонка подтолкнула меня к трубе и сказала: «Поздоровайся. Это дядя Ростик. Ну, протяни ему ручку, скажи, как тебя зовут». Потом Нонка долго разговаривала с дядей Ростиком. И даже обнимала его. Так убедительно, что я начала сомневаться, вправду ли он – обмотанная труба. На прощанье Нонка его поцеловала. Снова взяла меня за руку, и мы пошли.

– Ну как? – спросила она. – Как тебе дядя Ростик? Понравился?

– Да, – сказала я и почувствовала, что запутываюсь окончательно: с одной стороны, Нонка была самым противным человеком на свете, а с другой стороны – быть её сестрой оказалось куда интереснее, чем Валькиной дочкой.

Проходя мимо песочной горки, Нонка сложила руки рупором и крикнула:

– Ма-ма! Мы ещё погуляем, ладно?

Валька обернулась и важно кивнула нам с верхушки горки:

– Хорошо. Погуляйте до обеда и приходите.

Нонка повела меня за дом, под грушу. Туда, где лежали наши кирпичи. Накануне мы сложили из них диванчики, столики, плиту.

– Давай я тебя лучше тут накормлю. А то мама всегда варит манную кашу и больше ничего.

Она раскрыла свою сумку, вытащила оттуда бутылку от одеколона «Кармен» с каштановым пивом. Поболтала ею, пока на пиве не появилась пена. Удовлетворенная, поставила на кирпич. Затем вытащила настоящую чайную ложку и – с самого дна сумки – бледную сосиску с приставшими крошками. Сосиску она положила на кирпич, огляделась и тут же под грушей нашла подходящее стёклышко, которым накромсала сосиску на неаккуратные колечки. Мне показалось, что сосиска чуть зеленоватая и скользкая. То ли сырая, то ли долго в сумке валялась.

Я очень боялась, что Нонка заставит меня её съесть. Тем более что и кирпич, и в особенности стёклышко выглядели не такими уж чистыми. Но деваться было некуда. И когда Нонка сунула мне в рот сосисочное колечко, я послушно прожевала его и проглотила. Песок опасно похрустывал у меня на зубах, но такой интересной игры – с настоящей ложкой, с настоящей сосиской – я не могла припомнить. Я не только сосиску доела, я проглотила даже несколько ложек каштанового пива...

Вообще-то, мне всегда хотелось попробовать это пиво. Мы его делали из первых, совсем мелких каштанчиков, порубленных на кусочки и настоявшихся в воде. Каштанчики были зелёные, а пиво, если долго-долго его трясти, получалось коричневое, как настоящее, с настоящей белой пеной. Несколько дней они падают с деревьев, эти крошечные каштанчики, и тогда все дети ходят по улице с бутылками и трясут, трясут... Чем больше трясёшь бутылочку, тем оно красивее, тем выше пена. Такое пиво мы делали для кукол.

И вот я наконец попробовала кукольное пиво. Оно было невкусное, ещё хуже, чем то, что пил папа. И сильно отдавало одеколоном.

Остаток пива Нонка допила сама, прямо из бутылки. Собрала своё хозяйство обратно в сумку и, по-взрослому помахивая ею, за руку повела меня домой, к песочной горке.

– Ты не рассказывай маме, что я с дядей Ростиком целуюсь, – шепнула она мне на ухо.

Я кивнула.

– Ты не думай, у нас скоро будет свадьба, а после свадьбы уже можно целоваться.

– У тебя правда будет свадьба?!

– Да, – отвечала Нонка так серьезно и уверенно, что я потом несколько дней решала вопрос: а вдруг действительно?

Вдруг выгляну завтра в окно, а там – Нонка. Идёт под руку с этим дядей Ростиком, у неё букет, на голове фата, длинное белое платье волочится по земле, как волочился Женин халат. А Женя стоит в стороне возле парадного и плачет.

* * *

Привкус одеколona вперемешку с привкусом сырой сосиски прошёл нескоро. В тот день он без конца возвращался в рот и выдыхался с шумом. Но на следующее утро ничего такого уже не было. И я поспешила во двор: надеялась, что вчерашняя интересная игра продлится. Однако от нашей песочной горы почти ничего не осталось. Девочек было мало, они играли в «десятки» об стену. Трудная игра. Получалось у меня не очень хорошо, а тут ещё Нонка объявилась во дворе с мороженым. И когда подошла моя очередь, уселась прямо под стенкой.

– Нонка, ты зачем тут села? – спросила я. – Тут же пыль будет падать от стены. Или мяч тебе в мороженое попадёт.

– Попробуй только, – спокойно откликнулась Нонка. – Будешь мне куплять новое морожено.

Спорить с ней было бессмысленно, и я перешла к другой стенке. Не такой удобной. Но мячик и трёх раз не успел цокнуть по кирпичам, а Нонка со своим нескончаемым мороженым сидела уже прямо передо мной. А когда я направилась к прежнему месту, живо вскочила и, опередив меня, уселась там на корточках. Ещё и розовые трусы были видны.

Я пошла в подъезд, хотя это последнее дело было – играть в подъезде: там страшно воняло от мусорных ящиков. Но Нонка и в подъезд за мной потащилась. Я поняла, что играть она мне не даст, и ушла на лавочку, туда, где сидели старушки. Нонка чуть помешкала и, скроив плаксивую гримасу, стала тыкать мне своё мороженое.

– Вот видишь? Ты мне мусор на моё морожено насыпала!

И она завывала. Не очень естественно, но с самыми настоящими слезами.

– Теперь купляй мне новое! Я не буду такое грязное кушать! И так у меня папы нет и мама при смерти! Где я возьму деньги на другое морожено?

Я тоже готова была зареветь, но тут за меня неожиданно вступилась Талкина бабушка:

– Ты чего до неё пристала? Ты уже почти доела это мороженое! Можешь снять эту пылинку или вообще выбрось его. Там уже ничего не осталось кроме бумажки!

Нонка тут же исчезла. Я даже не поняла: разозлилась она или испугалась. Три шага – и не стало её.

А я осталась возле старух. Бабка Сорока рассказывала, как она в молодости видела живых ангелов. Вышла ночью в сад, а там ангелы сидят на всех деревьях, и на них разноцветные платица: белые, голубые, розовые. Рябчучка сказала, что видела когда-то покойного свёкра. «Вот это... вхожу в сарай... И не ночью – середь бела дня! А он там стоит и что-то в бочке ищет. Услышал, что я зашла, повернул голову и вот так вот палец к губам приложил, чтобы я, значит, не кричала, никого не звала. И вот это вот... очки его поломанные, изолентой обмотанные... Представляете? Я домой прибежала и мужу говорю: «Не нашла пилу, иди ты найди!» Он пошёл, принёс как ни в чём не бывало. «Ты там ничего странного не видел?» «Нет, ничего...»

– Вот не верю я во всё это, – сказала Талкина бабушка и скривила своё засохшее морщинистое личико, поводила туда-сюда розовой бульбочкой на кончике носа. – Чего это раньше и ангелов видели, и покойников, а сейчас ничего такого не бывает?

– Так что ж это, я вру, получается? – обиделась Сорока. – Это ж не кто-то мне рассказывал, это ж я сама видела!

– Может, это из-за революции? – примиряюще вступила Ксения. – Коммунизм начался... Партия... Вот оно всё и попряталось...

Тема была волнующая – не хуже огненной обезьяны и чёрной руки. Но и обычные их разговоры было интересно слушать.

* * *

Я очень завидовала тем, у кого есть бабушка. Мне казалось, что это так приятно, так уютно! У Ляли Белоус, к примеру, было их целых три. А у меня ни одной. Ну разве что эта... которая внутри. Иногда я думала, что это не меня, а мою бабушку тянет посидеть на скамеечке с другими старушками. Послушать про радикулит, про грудную жабу... А то я всё с девчонками да с девчонками. Со скакалкой прыгаю, мячом колочу по земле или вообще пью каштановое пиво. А она сидит там внутри, переживает. И сердится. И всё мне подсказывает. Я ведь всегда знаю, когда поступаю плохо. А откуда, спрашивается? Я же ещё маленькая. Конечно же, конечно же – от неё!

Вот взять хотя бы эту Нонку. Все её ругают, все на неё злятся – и я тоже. Ну ненавижу, просто ненавижу! А бабушка внутри меня говорит: «Ты посмотри только, в каком она подвале живёт! Там же солнца никогда не бывает! Мама её ходит к людям бельё стирать. Все дети её дразнят. А про Витьку помнишь? Когда он сделал деревянный столик, деревянный диванчик и деревянную кровать. Кому он первому предложил выбрать? Вот. Вот именно. Тебе. А думаешь, Нонка кровать не хотела?» – «Диванчик тоже был красивый. И столик». – «Красивый-то красивый, но ты же сама знаешь: на нём ни одна кукла не помещалась. И столик не такая уж нужная вещь. А тут кровать – с ножками, со спинками... На неё можно класть постель. И кукле очень удобно. У тебя платья красивые, конфеты разные...» – «У неё тоже конфеты! – радуюсь я бабушкиному промаху. – Она вчера выносила большущую конфету! Половина – белая, половина – коричневая. Она коричневым на белой стенке рисовала, а белым – на Лоркином флигеле. У меня никогда не было такой конфеты! И платья у Нонки не хуже, чем у меня. Особенно это, новое...»

* * *

По-моему, Нонкино платье было даже лучше. Не такое, конечно, как я ожидала, но тут уж Нонка сама виновата. Выходит во двор и говорит, так это противненько говорит, как она одна умеет: «А мне мама на Женину свадьбу шьёт платье – солнце-клёш».

Тут каждый себе, конечно, вообразил такое, такое! Витька сразу сказал: «Брешешь!»

– А вот и не брешу, – сказала Нонка. – Солнце-клёш! – спокойно так сказала, высокомерно.

– Луна-клёш! – сказал Колька.

– Бочка-клёш! – подхватила Валька.

Тут уж Нонкины брови стали краснеть, на шее надулась жила, и она прямо загавкала, загавкала!

– А вот и солнце-клёш! Солнце-клёш! Солнце-клёш!

– Горшок-клёш!

– Кастрюля-клёш!

– Какашка-клёш!!

Уже и «Нонкой-купонкой» её не дразнили, и «рыжим псом», а только всё этим «солнце-клёшем». И ведь знали, что не врёт, что действительно шьют ей какое-то необыкновенное платье для свадьбы...

Я пыталась представить себе, что же оно такое. Наверное, голубое платье, а на нём солнышки. Хотя нет. Это уж очень обычно. Скорее оно из какой-то особой ткани. Цвета солнца. Такое белое с желтоватым. И смотреть на него больно. Вот выйдет Нонка во двор, а вокруг неё лучи, лучи, а мы все сощуримся и ладошками прикроемся от такой красоты. И так я боялась этого дня, когда Нонка выйдет и всех нас ослепит, осрамит! Будто мне только до тех пор и жить-то осталось. И казалось, что эти дразнилки, все эти «бочка-клёш», «картошка-клёш», которыми каждый день встречают Нонку во дворе, немного оттягивают мой позорный конец.

Разумеется, когда Нонка появилась-таки в голубеньком ситцевом платьице с белыми цветочками, все вздохнули с облегчением: Нонкино платье не сияло, и никаких лучей от него не было. А тут ещё Талкина мама, которая ходила на курсы кройки и шитья, пощупала, пощупала Нонкину юбку и объявила: «Тут три шва, а солнце-клёш должен быть вообще без шва!» Все ужасно обрадовались. А Колька вообще бросился на землю, руки раскинул, глаза закрыл: «Умираю! Несите мне носилки! Это называется солнце-клёш!»

А платье ведь было просто замечательное! Юбка – пышная-пышная, с поясом на талии. Пояс сзади завязывался большущим бантом. Второй бант был у Нонки на плече. Плюс два банта в косичках и один – на голове. Главное, юбка её кружилась, как пачка у балерины. А швов там каких-то совсем не было видно.

* * *

И вот она стоит, Нонка.

В розовом сарафане, с бантами своими. С белой своей кожей – то ли покрытой ворсинками, то ли посыпанной мукой.

То есть нет... Этого я как раз не вижу. Потому что стоит она в дверном проёме, свет бьёт ей в спину, и поэтому вся она – тёмная. И только по контуру обведена золотисто-солнечной тонкой линией – чуть лохматой, чуть лучистой... Очень красиво! Она стоит перед входом, а я сижу внутри маленького крытого тамбурчика. Справа от меня – дверь в наш сарай с большущим круглым замком, слева – Витькин сарай с квадратным замком. Так что в этом тамбурчике я немножко главная. Ну и Витька, конечно.

Когда-то давно, когда мы были богатые, папа зарыл в нашем сарае две золотые монеты. А Витькин папа подсмотрел в щёлочку, как мой папа копает. Взял, прорыл вход из своего сарая в наш и монетки забрал. Непонятно, каким образом – но об этом знал весь наш двор. Витькина мама сразу купила себе шубу и чернобурку. И с тех пор как-то по-особому смотрела на меня. Ехидненько. Меня-то она не боялась. Да и вообще никого не боялась. Потому что мой папа тоже был виноват. Такие монетки людям держать дома нельзя, за это могут посадить в тюрьму. Наверное, потому, что на монетке изображен царь. А это всё равно что Гитлер.

Судя по всему, и Витька знает о монетах: он тоже смотрит на меня по-особому. Но не ехидно, а наоборот – виновато. Может, из-за этих монеток он отдал мне кровать, а вовсе не из-за локонов, не из-за ресниц.

Вот и сейчас, когда все отправились в поликлинику за добычей, а я побоялась идти, он не позволил ребятам надо мной смеяться. Сказал, что штаб нельзя оставлять без присмотра, что я буду часовая. Велел сесть на диванчик и никого не пускать. Диванчик соорудили из дров и соломы, сидеть на нём неудобно, у меня уже мурашки ползают в ногах. Но такой интересной игры у нас никогда-никогда ещё не было.

Это Верка ходила в поликлинику на кварц и обнаружила там на заднем дворе целую гору разных замечательных вещей. Она прибежала к нам и рассказала об этом. Все тут же отправились за Веркой и перетащили в наш двор половину добра. Во-первых – громадный кусок зеркала, почти в мой рост. Во-вторых – большой медный кран. Умелый Витька каким-то образом укрепил этот кран на стене своего сарая. Под краном пристроили подставку от разбитой плевательницы. В неё замечательно улеглась только чуть-чуть надбитая эмалированная мисочка. Было ещё несколько узеньких ящичков с

ручками, которые уложили один на другой. Был почти новый веник. И совсем новый вентилятор – только что без шнура. Пол застелили зелёной клеёночкой. А лучше всего была стеклянная синяя табличка с надписью: «Посторонним вход воспрещён». Табличку приклеили пластилином снаружи. И так замечательно было всё это строить, укладывая в подходящие места, что мы никак не могли успокоиться. Решили, что там во дворе могло завалиться ещё что-то ценное, и снова отправились в поликлинику. Все кроме меня.

Главное – сидела я не просто так. Если бы я не осталась на посту, не караулила – малышня запросто могла из нашего штаба что-нибудь утащить или испортить. А то и кто-нибудь чужой мог забраться из соседнего двора. Хоть на табличке и написано, что вход посторонним воспрещён, но её-то, табличку, и украдут в первую очередь. Ведь синее стекло – такая редкость!

В общем, никак, никак мне нельзя было уходить со двора! Наконец-то я получила действительно ответственное задание. Не то что Нонка. Притащилась на всё готовое. Заглядывает в наш штаб, вертит головой направо, налево... Светится своим золотистым ободком.

– Ух ты! – говорит. – Здорово! Дай я здесь немножко посижу...

– Нельзя, – отвечаю.

И сама слышу, какой у меня взрослый и суровый голос.

– Ну так я просто зайду, постою...

И Нонка переступает через порог, через мою правую ногу. Нарочно переступает, назло. У нас во дворе считается, что если переступят через человека, он перестаёт расти. И чтобы спасти положение, нужно переступить в обратную сторону.

– Вернись, – прошу я, хотя не очень-то верю в эту примету.

Нонка не отвечает. И я вдруг вижу в зеркале её вдохновенно-хищное лицо. С красными бровями, с потемневшими веснушками. Я знаю: сейчас произойдёт что-то плохое. Что именно – не представляю, но сердце уже переместилось куда-то в горло и за уши. Бултыхается там беспорядочно.

– Ой, какое зеркало! – восхищается Нонка. – Какие ящички! А это что за штучка?

И на той же ноте, таким же голосом продолжает:

– Давай всё развалием!

– Зачем? – говорю я.

– Сейчас увидишь, как будет классно!

И хватает наше зеркало, наше замечательное зеркало...

– Стой! – кричу я. – Зеркало нельзя разбивать! Кто-нибудь умрёт!

Но зеркало уже летит через порог. Ба-бах! Ударяется оно о стенку бывшей тюрьмы. Господи! Я пытаюсь вытолкнуть Нонку из тамбурчика, но куда там! Она выше меня, и сильнее, и увёртливее. Выхватывает прямо у меня из-за спины кран и мисочку. Тут же зашвыривает куда-то. А ящички топчет своими чёрными туфлями. Мелочи, которые хранились в них, летят в разные стороны, в заросли жёлтых Гениных цветов. А за ними поленья.

– Нонка, не надо! – надрываюсь я.

И заслоняю собой проём, хотя спасти там уже нечего. Осталась только солома. Нонка хватает солому охапками и зачем-то суёт мне. И я беру, я швыряю эту солому Нонке в лицо. Швыряю то, что Нонка только что сунула мне в руку. «Дзынь!» Что это? Ужас! Синяя табличка! И я зачем-то начинаю топтать ногами синие осколки...

Ребята возвращаются. Нонка встречает их под горкой, на дорожке.

– Ага, ага! А мы тут всё развалили!

Они стоят на месте, ничего не понимают.

– Как развалили?

Но уже видят всё: и солому, и разбитое зеркало.

– Зачем вы это сделали? – спрашивает Витька.

Он обращается ко мне. И все остальные тоже смотрят на меня. Брови у них высокие, глаза круглые.

– Это Нонка, Нонка! Это не я!

Сейчас у меня что-то лопнет в ушах.

– А вот это чья работа? – тычет Нонка носком туфли в синие осколки. – Скажешь, не ты?!

– Рыжий пёс! – кричу я. – Рыжий пёс!

И убегаю. Убегаю в парадное.

Ну вот и всё. Погубила она меня, чёртова эта Нонка. Никогда больше не назначат меня часовой. Может, вообще никогда и никто не будет со мной играть. Объявят бойкот, навсегда. И правильно сделают. Потому что я действительно – рохля. Действительно – «мамина доця», «зима-лето, попугай!», «жадина-говядина», «плакса-вакса», «цыпочка-бульончик». Разве что не «ябеда-карябеда». И то как посмотреть. Прав, прав Лоркин папа! Так и надо вести себя с человеком, который не умеет давать сдачу. Никто его не будет уважать. Все будут дразнить и не принимать в самые лучшие игры.

Я стою в углу, за распахнутой дверью чёрного хода. Стою и понимаю, что нет у меня выхода. Бабушка там, внутри, что-то быстренько шепчет, но я не хочу её слышать. Я тоже храбрая, я такая, как все. Вот пусть она только появится, Нонка!

И что же? Она появляется. Появляется со стороны парадного. Идёт мимо меня как ни в чем не бывало. В розовом своём сарафане, с перекрещенными шлейками на голой белой спине, будто присыпанной мукой. Она уже проходит мимо, ставит ногу на ступеньку. Тут я делаю шаг и изо всех сил хлопаю её ладонью по белому треугольнику.

Нонка останавливается, оглядывается, смотрит на меня с недоумением. Сейчас подойдёт и убьёт. И чёрт с ней, пусть убивает.

Лицо её растягивается. Нет, не в ту, не в противную улыбочку, а во что-то ещё более противное. Я слышу тоненький-тоненький писк. С этим писком Нонка отворачивается, закрывая лицо худым локтем, и уходит куда-то вниз, куда-то вниз. И на белой коже её горит красная пятерня. Моя собственная пятерня с растопыренными пальцами.

Боже! Я изуродовала Нонку. Теперь ей всю жизнь придётся жить со страшной, красной моей рукой. И все будут спрашивать: «Что это?» А она всем будет рассказывать, как я подкараулила её в дверях чёрного хода и, не предупреждая, ляпнула по спине.

Тоненький писк удаляется глубоко в подвал и совсем исчезает за хлопнувшей дверью, а красная рука стоит у меня перед глазами и делается всё больше, всё ярче.

Может, я ей что-то там сломала? И Нонка уже лежит мёртвая на кирпичном полу, где когда-то лежал её отец. А рука тихонько отделилась от

её спины, выползает и плывёт, плывёт в полумраке, накаляясь нестерпимым электрическим сиянием. Ещё немножко, ещё немножко – и она приблизится вплотную ко мне, ляжет на мою шею и задушит. Или нет, ещё хуже: прижмётся на секунду к моему лицу и навсегда оставит такое же красное пятно. Мало того что повсюду шныряют всякие чёрные руки и белые перчатки – так ещё и эта прибавится, красная! Будет скрываться в тёмных закоулках и оставлять такую же страшную печать на лицах детей – тех, которые знали, что не надо давать никакой сдачи, но всё-таки послушались взрослых.

Я оползаю в своём углу на корточки. Ноги от страха не могут идти. Сажу, думаю. Слушаю бабушку. А бабушка... Что ж – Нонку, конечно же, защищает. Вот, мол, все её не любят, все её дразнят. Никто её в гости не приглашает, и к ней никто не ходит. А тебя, наоборот, зовут на все именины. Вот она и злится. Помнишь тот кирпич, который бросили в окно, когда ты болела? Ты ведь знаешь теперь, почему Нонкин папа его бросил? Вспомни, вспомни! Как они сидели на маленьких скамеечках – твоя мама и Нонкина. Ждали, пока бельё высохнет. Как она извинялась, Нонкина мама. Ага! Нарочно забыла!

Я затыкаю уши, но всё равно слышу голос Нонкиной мамы: «Она у него рубль еле выпросила! “У Цинечки именины, я хочу подарить ей мороженое!” А потом приходит с этим мороженым домой и так плачет, так плачет! “Меня не пустили, – говорит, – и мороженое не взяли!” А он как раз напился с утра...»

И мама тоже извинялась. «Вы понимаете, к нам гости пришли, а у неё температура тридцать девять и два. И ещё жалуется, что ей на свет смотреть больно. Ну что я должна была подумать? Корь, конечно. Как же я могла пустить ребёнка в дом? Я даже угостить её чем-нибудь побоялась, чтоб не заразить. Конечно, мне надо было хотя бы мороженое у неё взять, но я как-то не додумалась. Сказала ей, чтобы она сама съела. Понимаете, я так расстроилась, места себе не находила...»

– Представляешь, как Нонке обидно было возвращаться с этим мороженым? – упрекает меня бабушка. – Ты бы пожалела её, подарила бы ей что-нибудь!

– Ага! – не сдаюсь я. – Она и так у меня всё забирает! Я одна её не обзываю, не дразню, а она мне всё время всякие гадости делает!

Бабушка молчит.

«Ну и пусть делает! – вдруг говорю я сама себе. – Пусть издевается! Пусть даже лупит меня!»

Мне бы только знать, что всё с ней хорошо. Лишь бы рука эта когда-нибудь сошла с её спины. Лишь бы забыть когда-нибудь звук, с которым ладонь моя шлёпнула по Нонкиному телу. Забыть её растянувшиеся губы, её тоненький щенячий визг. И мороженое, проклятое это мороженое забыть!

Вот тут бы и остановиться. Закончить так: «С того дня Нонка меня больше не обижала».

Нет, всё-таки это не конец. Ну да, не обижала. Но как знать... Может, прошло бы какое-то время, и она снова взялась бы за старое. Но времени у нас оставалось совсем мало. Простая наша детская жизнь очень скоро закончилась. И моя, и Нонкина. Особенно Нонкина, конечно. Может, ей просто стало не до меня.

Началось с того, что куда-то уехал дядя Ростик со своими чемоданами и гитарой. То есть не куда-то, а на север, куда Нонкина гордая Женя ехать не захотела. Там морозы, там снега. Там не походишь в зелёном шёлковом халате. И маленькому, только что родившемуся их ребёнку там будет холодно. И некому будет помочь Жене купать ребёнка, качать его в плетёной коляске. А так Нонкина мама целый день сидит на маленькой скамеечке возле Лоркиного палисадника под старой грушей – и качает, качает...

* * *

И я тоже качаю. Не куколку какую-нибудь. Много-много лет спустя качаю большую зелёную коляску, в которой лежит мой собственный ребёнок. Ему только месяц. Там, где я теперь живу, двор тесный, сырой и тёмный. Вот я и решила заехать сюда, под старую грушу.

Это совсем близко, за углом. Тут, конечно, не настоящий сад, но всё-таки очень похоже на то, что я в детстве придумала. Даже лучше. Потому что снесли все эти гнилые флигели, которые я пыталась почистить стёклышком: и Лоркин, и Грунькин, и Берманшин. Снесли сараи, снесли деревянную пристройку, где жила Фрося. За двадцать лет Фроськину горку смыли дожди, оградка её ушла в землю. На месте горки вырос высокий клён. Даже странно, что такое дерево могло вырасти так быстро.

Я всматриваюсь и обнаруживаю под ногами остатки кирпичной кладочки. У подножия клёна что-то торчит из земли. Я откладываю книгу, нагибаюсь, раздвигаю пальцами траву. Неужели... Так и есть. Это шишечка, ржавая шишечка железной кровати. Почему эта шишечка так разволновала меня? Будто я сомневалась в том, что это то самое место, – и вот нашла подтверждение.

Странно...

За столько лет я ни разу не отважилась заглянуть сюда, в этот двор, где прошло моё не очень-то весёлое детство. Надо же! Воплотилась, воплотилась-таки моя мечта! Ну, положим, стеклянных дорожек так и не проложили. Но уродливых заборов больше нет. Только деревья и цветы, сплошные цветы. Между ними узенькие тропинки и уютные скамеечки. Но Боже, каким маленьким оказался наш двор, когда убрали отсюда эту каменную и деревянную рухлядь, где столько людей маялось в тесноте и сырости! Лишённый своих лабиринтов и закоулков, двор стал ну просто до жалости крохотным. Где же оно тут всё вмещалось?! Прикидываю, подсчитываю... На месте этого газона, этих жёлтых и оранжевых чернобривцев были две комнаты – Заков и Котовых. Ксенину каморку заняла детская качелька, а Лоркину комнату – молоденькая вишня. Вместо Лёвкиной конуры – два розовых куста. Раскидистый орех разворотил своими корнями подвал, где маялась несчастная Генька. И на ветвях его загораются потихоньку четыре шёлковых абажура: голубой – Катькин, жёлтый – Грунькин, красный – Блиндершин и оранжевый – Берманшин.

Господи! Да где же мы тут бегали, где же играли в лапту?

Я поднимаюсь, отмериваю шаги. От стены тюрьмы до первого флигеля – раз, два, три... И натыкаюсь на густой разбитый от горя голос Берманши:

- Сво-о-ло-о-чь! Я купила ребёнку пирожное, а он сожрал!
- Я увидел пирожное, и мне захотелось... – гнусавит Берман.
- Я же вышла из дому на какую-то минуту! – стонет Берманша.
- Я больной человек! У меня тубаркалёз лёгких! Я инвалид войны!
- Я купила ребёнку пиро-о-жное...

Отступаю на два шага. И слышу, как за спиной у меня Славка втягивает соплю.

– Этого грузовика мне не той папа купил, что у меня сейчас. Это той, что у меня был в прошлом году...

Ещё три шага. Не оступиться бы, не упасть бы в Нонкину яму. Она так и осталась здесь, такая же, а над ней, у самого уха моего, уныло гудит и гудит несчастная Генька.

– Женька, сука ты, змея ты подколодная! Ты ж красавица! У тебя же муж законный, у тебя же ребёнок! А ты... Ты бы лучше к мужу на Север поехала! А ты тут сидишь, чужих мужиков отбиваешь! У тебя же сколько захочешь мужиков будет! А мне один раз в жизни повезло – так и то ты всё испортила! На что он тебе нужен? Он же простой! Он же сам страшненький! Он мне – пара, а тебе он – не пара! Я ж беременная, Женька! Высунься в окно, высунься, чтоб я в твою морду наглуую плюнула!

Ещё два шага. Старенький Зак зовёт меня – тоненько, тихо, ласково. Произносит имя, на которое я давно уже не откликаюсь.

Я возвращаюсь к нашей старой груше, от которой только и осталось – толстый ствол и несколько коротких веток. Бедная груша! Сколько ужасных историй ей пришлось выслушать! «И ту-у-ут, – завывает Милка, – дверь открылась, в неё просунулись белые перчатки и полетели по воздуху прямо к коляске. Схватили ребёнка и стали душить!» – «Это чёрная рука душила!» – перебивает справедливая Верка. «Они все душат, – вступается Витька. – Давай, Милка, продолжай дальше!» – «Граф услышал какой-то шум...»

Кудрявая девочка в синем сарафанчике стоит возле груши. Девочка с длинными ресницами, девочка в красных сандаликах, которые прилипли к земле, к чёрстой серой земле. Она не может отделить от груши свою пугливую спинку. Я беру её за руку и веду, веду, веду...

Нет. Что-то не так с этим странным двором. Почему мы с ней так долго, так долго идём к зелёной коляске, в которой лежит наш единственный ребёнок? Он спит. Реснички коротенькие, но густые-густые. В приоткрытых губках младенческое вдохновение. Пушистая жёлтая шапочка теплится в сумерках, кишаших призраками.

– Вот, – оправдываюсь я, – так уж вышло... Ты-то собиралась родить десятерых. А я родила только этого – и то, знаешь, еле-еле. Ты ведь где-то через пару лет подцепишь полиомиелит. Будешь несколько месяцев лежать парализованная. Потом начнёшь ходить на костылях, потом без костылей. Но

правая нога у тебя так и останется слабой. И не то чтобы очень короткой, но всё-таки короче, чем левая.

– Это всё Нонка! – говорит девочка. Губки её сурово сжимаются. Сходятся к переносице крошечные брови. – Помнишь, она мне через правую ногу переступила?

– Ерунда... – смеюсь я. – Она через всех переступала. Но, слава богу, никто не остался лилипутом. Это всё чепуха – глупые наши дворовые приметы.

Девочка мотает головой. Бьются тревожно шёлковые спирали кудряшек.

– А зеркало? Помнишь, она тогда зеркало разбила? Ну вот! И сразу после этого её мама умерла. Я похороны видела из окошка. Знаешь, как страшно было? Услышала шум на улице, выглянула – а там целая толпа, и лошади с кружевами, и серебряная карета. С колоннами, с цветами! В такой карете Золушка ездила на бал. Я сначала обрадовалась, а потом смотрю – там, внутри...

– Не надо, не надо об этом! – перебиваю я малышку. – Я ведь тоже всё помню.

Помню, как смотрела в окно, а сердце моё стучало о крашенный подоконник. Там, в карете, на высокой подставке, стояло оранжевое деревянное корыто, полное цветов. И вдруг среди всех этих георгинов и астр я увидела что-то маленькое и бесцветное, с ввалившимися глазами и щеками. Оно будто уходило в какую-то сосущую воронку – и других старалось за собой потянуть. Что-то я поняла тогда, очень важное, чего детям понимать не следует, с чем им никак не справиться. Помню, как рёбрышки мои скользнули по подоконнику, я как-то извернулась на лету и шлёпнулась попкой на пол. Сидела и покачивалась как пьяная. И ничего нельзя было сделать, ничем нельзя было себе помочь. И бабушка молчала, нечего ей было сказать, нечем утешить. Может, когда-то давно через такую же страшную воронку ушла и она, моя бабушка, – а оказалась во мне, смутила всё моё детство своей старческой горечью... Ты себя обмануть стараешься. Уговариваешь себя, что вот, мол, пока вырастешь, изобретут какие-нибудь таблетки от смерти. Или, например, прививку, как от туберкулёза. А бабушка там, внутри: «Нет... не изобретут...» Ты отмахиваешься. В конце концов – это ведь не так скоро будет! Вон как долго тянется день, как тяжело дожидаться следующего воскресенья! А до смерти ого сколько осталось! Так что пока

можно не думать об этом. Зачем? Всё равно что первого мая к ёлке готовиться. Это же ещё так не скоро! А бабушка своё: «Скоро... скоро...»

– Ну и глупышка же ты была! – улыбаюсь я. – Сравнивала похороны с Новым годом!

– А что? – удивляется она и хлопает, хлопает своими ресницами. – Похороны – это тоже праздник. Только страшный праздник. И тоже очень красивый, нарядный.

– Ну... – я не знаю, что ответить.

– Нонки не было, когда хоронили её маму, – вздыхает девочка. – Помнишь?

– Помню. Не помню только – почему.

– Как же! – изумляется она. Её длинные лёгкие реснички поднимаются почти до бровей. – Нонка в больнице лежала. Она как раз тогда заболела желтухой. Как ты могла забыть? Ещё Лорка с Веркой ходили по квартирам с мешочком, собирали передачу для Нонки. И мама дала яблоки, огромные такие, совсем белые яблоки. А потом взяла ещё что-то – так, чтоб я не увидела. Но я увидела. Конфеты, которые принесла мне тётя Аня. Такие красивые, что я никак не решалась начать коробку. Мама догнала девочек на лестнице и отдала их. И было так грустно, что Нонка не узнает, кто ей передал такие чудесные конфеты! Лучше бы мама дала ей эти конфеты раньше, тогда, когда Нонка пришла к нам со своим мороженым.

Девочка задумчиво тербит свой бант.

– Если бы я увидела Нонку, я рассказала бы ей всё про эти конфеты. Но Женя сразу после больницы отдала её в детдом. Я Нонку больше не видела. А ты?

– И я не видела.

2013–2016